

Виктор БАРАНЕЦ



ОФИЦЕРСКИЙ КРЕСТ

СЛУЖБА И ЛЮБОВЬ ПОЛКОВНИКА ГЕНШТАБА

Виктор Баранец

**Офицерский крест. Служба и
любовь полковника Генштаба**

«Книжный мир»

2018

Баранец В. Н.

Офицерский крест. Служба и любовь полковника Генштаба /
В. Н. Баранец — «Книжный мир», 2018

ISBN 978-5-6041071-9-5

Полный драматизма служебный роман с элементами чувственной эротики – так можно охарактеризовать новую книгу полковника в отставке, журналиста и писателя Виктора Баранца. Написана она в лучших традициях соцреализма, со знанием всех сторон жизни – от сугубо военной до интимной (чего так не хватало писателям позднего СССР, превратившим и соцреализм, и производственный роман в тоскливую агитку решений «партии и правительства»). Книга Виктора Баранца через поступки и чувства людей в погонах и без дает точный срез состояния армии и обороны в период сердюковских реформ. Бурный и отнюдь не платонический роман главного героя разворачивается на фоне интриг и коррупции в ведущем ракетостроительном предприятии России. Образно говоря, нежные стоны любимой женщины полковника регулярно заглушают грозные раскаты стартовых двигателей боевых ракет. Две главных линии романа – служебная и интимная – как два главных мотиватора мужской жизни, то сплетаясь, то расходясь, так и не дают до самого конца ответа на философские вопросы: каков же в офицерской душе баланс между Делом и Женщиной? Между Честью и Страстью? Между Душой и Телом? Быть может, читателю удастся эти ответы найти в себе?

ISBN 978-5-6041071-9-5

© Баранец В. Н., 2018

© Книжный мир, 2018

Содержание

Часть I	6
Часть II	26
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Виктор Баранец

Офицерский крест. Служба и любовь полковника Генштаба

И тоскуя, и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность, – печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, – заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ...

В. Набоков. «Машенька»

Часть I

1

В тот самый год, когда в Российской армии особенно сильно лютовали кадровые реформы министра обороны Сердюкова, десятки тысяч офицеров попадали под сокращение и уходили на гражданку.

Досрочное увольнение грозило тогда и 45-летнему полковнику Генштаба Артему Павловичу Гаевскому, – мужчине, что называется, в самом соку, в меру амбициозному и знающему себе цену.

Он не сразу узнал, какой дамоклов меч вдруг завис над ним в тот мрачный ноябрьский вечер, когда генерал Курилов – начальник управления, в котором служил Гаевский, – возвратился с совещания у начальника Генштаба Вакарова и приказал кадровику занести личное дело полковника. А затем, попыхивая сигареткой, он и раз, и другой, и третий перечитал характеристику, которую еще недавно написал на Гаевского: «Боевую технику по своей части знает отменно, к службе относится в высшей степени ответственно, отличается высокой исполнительностью и нестандартным мышлением. Проявляет глубокий профессионализм при подготовке тактико-технических заданий для разработчиков и изготовителей зенитных ракет»...

Обшитая шершавым красным ледерином папка с личным делом Гаевского еще неделю лежала на рабочем столе Курилова, – генерал не решался сообщить полковнику о неожиданном указании, которое он получил в кабинете начальника Генштаба.

– Сократить должность Гаевского?! Да это же один из лучших моих офицеров! – чуть не воскликнул в ту минуту Курилов, но что-то остановило его.

Хотя он-то знал, – что именно остановило. Вакаров не любил, когда ему перечат. Да и момент был очень неподходящий – представление на присвоение Курилову звания генерал-лейтенанта со дня на день должно было попасть на стол начальника Генштаба...

* * *

Курилов не кривил душой, когда несколько месяцев назад сочинял блистательную характеристику на Гаевского. Генерал нет-нет, да и прочил ему алые лампасы на форменных брюках (особенно – под хорошую рюмку). Иногда после таких разговоров полковник мечтательно примерял уже генеральские погоны к своим широким плечам.

– Палыч, ты у меня в особом почете, – говорил Гаевскому задобревший от выпивки Курилов, – тебе до генеральской звезды совсем немного осталось. Вот как до этой коньячной

бутылки. Наливай. Но есть у тебя один бааа-ль-шой недостаток... Не умеешь язык за зубами держать... Полковник, который ссыт против ветра, генералом никогда не станет.

Что правда, то правда: Гаевского то ли от избытка профессионализма, то ли от ненависти к начальственной глупости иногда заносило, – мог сгоряча рубануть в глаза правду-матку, да так, что сам потом корил себя за дерзкое слово.

Когда после выступления Вакарова в Общественной палате в прессе появились ядовитые заметки о том, что начальник Генштаба утверждал, будто в израильском танке «Меркава-4» есть бронекapsула, Гаевский на совещании офицеров управления не без сарказма заявил, что «Николай Егорович явно погорячился с бронекapsулой». Да и с дальностью стрельбы «Меркавы» и нашего танка Т-90 напутал.

– Ну оно тебе надо?! Ну оно тебе надо?! – распекал Курилов Гаевского после того совещания, – Егорычу твои слова обязательно донесут! И у тебя служба наперекосяк пойдет! И мне тоже за твою строптивость мандюлей достанется! Ну зачем, зачем ты лезешь в бутылку?!

Гаевский отвечал тоном уверенного в своей правоте человека:

– Андрей Иванович, из-за этой выдуманной бронекapsулы в газетах и в блогах не только над Вакаровым, – над всем Генштабом смеются. И над вами в том числе... И надо мной... Мы же в посмешище превращаемся. Вы читали, что люди пишут? Если уж в Генштабе такие неучи и профаны сидят, то...

Курилов сверкнул недобрыми глазами и, не дав полковнику договорить, продолжил так же холодно:

– Вот смотрю я на тебя, Палыч и думаю... Умный ты вроде человек, до полковника дослужился, а в житейских вопросах, извини... Ну не х... Ну дурень-дурнем. Ну облажался Егорыч, петуха, как говорится, пустил... Но зачем об этом надо было говорить прилюдно? Ловчее, ловчее жить надо, Палыч! Умнее надо было поступить.

– И как же? – насторожился Гаевский.

– А так, чтобы не тыкать носом начальника Генштаба в его прокол, а тихонечко доложить ему... Ну раз у тебя уж так свербит... Доложить служебной записочкой... Дескать, так и так, товарищ генерал армии, в ваше великолепное выступление в Общественной палате, к большому сожалению, по чьей-то вине... По чьей-то! Досадная ошибочка вкралась... Ну и так далее... И все шито-крыто... А ты на трибуну, как петух на курицу полез! Раскудахтался! Эээх! Сам себе же ты и нагадил. Да и мне тоже.

– А вам-то как? – удивился Гаевский.

– А так, товарищ полковник, что ты мой подчиненный. И раз катишь бочку на самого... То никто не помешает ему подумать, что и я заодно с тобой. Нет-нет, товарищ полковник, так карьеру не делают. Не де-ла-ют! Все. Ты свободен!

* * *

О многом передумал Гаевский после того неприятного разговора с Куриловым.

Еще в ту пору когда был он юным курсантом военного училища, седовласые преподаватели внушили ему что офицер должен быть карьеристом «в здоровом понимании этого слова», – то есть, постоянно стремиться расти в должностях и званиях, но при этом не идти по головам других, не подсиживать их, а трудом и потом добывать и очередное звание, и право подняться на новую ступень служебной лестницы. Как там поется в песне? «Комбаты с неба не хватают звезды, а на земле подковами куют».

До назначения в Москву служба помотала его и по дальневосточным, и по северным, и по южным гарнизонам. Там он еще майором (уже закончившим военную академию) и был замечен строгими столичными инспекторами, – не раз блистал перед ними великолепным знанием вверенного оружия.

А еще командир полка Гаевский умел отменно принимать проверяющих его часть московских, окружных или армейских начальников, – устраивал для них и рыбалку с ухой, и охоту с шашлычками, и щедрые попойки в бане. Хотя (если по правде сказать) делал все это он с тайным презрением и к самому себе, и к тем неписанным армейским канонам, которые считались вроде бы как обязательными в таких случаях.

До легкомысленных гарнизонных «девочек» в бане, правда, не доходило, хотя однажды столичный генерал явно по привычке и уже почти в бессознательном состоянии грозно спрашивал у Гаевского:

– Командир... А где наши бабы?

Начмед полка майор Карадзе (с эмблемой-змеей вокруг широкогорлого фужера на петлицах) тяжелым, свинцовым голосом бубнил в ухо Гаевскому: «Ярко выраженные симптомы поверхностной алкогольной комы. Пора уносить. Капустный рассол уже в номере».

А после очередной инспекции в полку штаб армии приказал Гаевскому подготовить доклад о новых методах применения боевой техники в условиях активного радиоэлектронного воздействия противника. С этим докладом Гаевский выступил на совещания комсостава, где восседало и высокое московское начальство.

Парочка оригинальных идей полковника особенно понравилась командующему войсками противоздушной обороны – старенькому и вечно попахивающему коньяком генералу Торбину.

Слегка прикорнув в президиуме совещания, он встрепенулся во время громкого доклада Гаевского и, кажется, был в восторге от того, что услышал. Ибо воскликнул:

– Да этот подполковник нескрываемо умен! Далеко пойдет!

После того совещания и другие командиры стали предсказывать Гаевскому повышение по службе.

* * *

В том же году предстоял полку еще один серьезный экзамен – осенняя проверка. Гаевский построил на плацу личный состав и толкнул с кирпичной трибуны зажигательную речь.

Офицеры, стоявшие в первых рядах, негромко шутливым тоном переговаривались:

– Это похлеще чем Суворов перед броском через Альпы.

– Или Кутузов – перед Бородино.

А в тылу суровых камуфляжных рядов очкастый солдатик с неприконченным филологическим образованием насмешливо бубнил:

«Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры, он прекрасен, он весь, как Божия гроза».

– Это че? Парфенов там опять ерничает? – повернув голову к строю, сквозь зубы говорил взводный Зенов, – ты у меня сегодня сапожной щеткой вот этот плац драить будешь! Пушкин нашелся, твою мать!

Вскоре тот же генерал Торбин и с такой же мучавшейся «после вчерашнего» штабной полковничьей свитой проводил строевой смотр, – с этого начиналась осенняя проверка.

Торбин обожал строевые смотры, испытывая к ним какую-то фанатичную любовь. В безупречно выглаженной адъютантом форме, в лаково сияющих сапогах, от блеска которых, казалось, жмурилось даже солнце, он грациозно делал приставные шаги вдоль офицерской шеренги и, становясь во фронт перед каждым опрашиваемым им, впивался в него глазами с белками цвета вареных креветок и включал один и то же вопрос:

– Жалобы, заявления, просьбы, пожелания есть?

– Есть, товарищ генерал! – молодцевато рявкнул взводный Зенов, сверкнув плутоватыми глазами, – есть желание!

Торбин насторожился, офицеры свиты, стоявшие позади него, зашелестели блокнотами, как стенографисты северокорейского бога Ким Чен Ына, и ошпарили стоявшего рядом командира полка Гаевского лютыми и недоуменными взорами, – мол, это че за оборзевший кадр у тебя служит?

– И какое же ваше желание, товарищ старший лейтенант? – спросил Зенова Торбин, явно снедаемый начальственным любопытством.

– Служить Родине так, как вы, товарищ генерал!

Сердце старого генерала дрогнуло:

– Спасибо, сынок, – велюровым голосом сказал он, – далеко пойдешь!

Командир полка посмотрел на Зенова таким благодарным отеческим взглядом, который сулил старшему лейтенанту досрочное звание или вышестоящую должность. Ну, может быть, отпуск в конце лета или в начале осени.

– Орлы, орлы! – говорил Гаевскому тот же Торбин уже через неделю, когда один из дивизионов полка хорошо отстрелялся на полигоне под Астраханью, – я тебя за подготовку таких бойцов к ордену представляю.

Артем Павлович был так вдохновлен и удавшимся смотром, и результатами стрельб, и похвалой генерала Торбина, что его с бодуна потянуло на поэзию (тут надо сказать, что стихоплетством он баловался еще со школьных лет).

В то утро после ночной баньки с инспекторами приступ поэтического вдохновения пер из него, как дрожжевое тесто из кастрюли.

Закрывшись на ключ в своем командирском кабинете, он «плескал на раскаленные колосники» – пил с глубокой и блаженной отрыжкой ледяное пиво из горла, и, шаря мутными глазами по потолку, подрагивающей рукой писал на тыльной стороне памятки солдату:

*На стрельбах и смотрах ложимся мы трупом,
Гордимся мы нашим зенитным полком!
Устало мы дышим на Горбина супом, —
Он весело дышит на нас коньяком!*

Вскоре в «Красной звезде» появилось большое интервью с портретом Гаевского – черно-белый Артем Павлович с провинциальной натушностью задроченного уборкой хлеба кубанского комбайнера задумчиво смотрел вдаль.

Гаевский делился опытом снайперской стрельбы зенитными ракетами, а заодно казуистическим языком со множеством недомолвок (чувствовался почерк бдительного цензора) рассказывал о новых способах противодействия радиоэлектронным средствам противника.

Уже на другой день после публикации в газете, его вызвали телеграммой в Москву.

Он прилетел в столицу, где его долго и нудно пытали в военно-научном управлении Генштаба, а затем отвезли в военно-промышленную комиссию при правительстве. И там тоже высокие армейские чины, а также холеные люди в гражданском с какой-то ехидной недоверчивостью целый час «допрашивали» – как это он, супротив установленных требований, умудрился отстроиться «от вражьей глушилки» и метко запустить ракету.

На том экзамене он чувствовал себя, как рыба в воде, говоря о программах, алгоритмах и тестах. Сам Сергей Борисович Иванов (он курировал тогда военную промышленность в правительстве) пожал ему на прощание руку и облучил своей легендарной улыбкой.

Через несколько месяцев пришел в полк приказ министра обороны о назначении Гаевского в Генштаб. А следом и звание полковника подоспело.

* * *

Был он хорошо образован, строен и щеголеват, не то, что уж совсем красавец писанный, но весьма, весьма симпатичен. Сослуживцы частенько говорили ему, что он сильно похож на знаменитого актера Вячеслава Тихонова, но Артем Павлович всегда отвечал одинаково:

– Это он на меня похож.

По утрам Гаевский печально поглядывал в зеркало на свои войлочные седеющие виски, всегда нежирно попахивал импортным одеколоном (жена говорила «непатриотично вонял»). А еще – имел такой тембр баритонистого голоса, который каким-то колдовским образом манивал женщин.

И вот так вдруг случилось на службе, на самом ее звездном полковничьем пике, – после семи генштабовских лет и ордена «За военные заслуги» он к ужасу своему оказался среди тех, кому надлежало отправиться в запас.

Но его от преждевременного выхода на пенсию спас случай, а точнее – начальник управления генерал Андрей Иванович Курилов. Хотя именно он первым с похоронным видом сообщил Гаевскому, что вынужден подчиниться приказу начальника Генштаба и сократить должность, на которой служил полковник (тогда в «мозговом тресте» армии сокращали десятки должностей).

Во время того тяжелого разговора Курилов вспомнил о дерзком выступлении Гаевского на совещании у начальника Генштаба. Артем Павлович был категорически против сокращения офицеров военной приемки на заводах, где производились зенитные ракетные системы. Более того, – Гаевский назвал такое решение преступным. Правда, и сам в тот момент испугался своих горячих слов – не переборщил ли? Но было поздно.

– Товарищ полковник, прошу выбирать выражения, – раздраженно бросил ему тогда начальник Генштаба Вакаров, – если вы ставите под сомнение директиву министра обороны номер 102, то вам не в армии служить надо, а на базаре картошку разгружать...

– Ну ты хоть теперь понимаешь, откуда ветер дует? Этим своим выступлением ты сам себе подписал приговор, – сочувственным тоном говорил Гаевскому Курилов, – ты покатил бочку и на министра, и на начальника Генштаба... Кастрация военной приемки – это же их идея...

Курилов с какой-то кирзовой дипломатичностью пытался показать Артему Павловичу, что к сокращению его должности он не причастен, что ему жаль расставаться с таким добросовестным и знающим дело подчиненным.

«Ну зачем же лукавить, товарищ генерал? – хотел было срезать начальника Гаевский, – к чему эта фальшивая скорбь? Если я такой «добросовестный и знающий дело», то почему же вы освобождаетесь от меня?».

Но он промолчал.

Курилов, видимо, догадывался, какие мысли в ту минуту роились в голове подчиненного, и двинул еще один аргумент:

– У тебя ведь уже и приличная выслуга, и полковничье звание, и квартира есть, а у пятерых офицеров нашего управления своего жилья еще нет. По чужим углам уже лет семь маются. У двоих – по трое детей. У жены Федорчука – рак. Согласись, что было бы несправедливо и бездушно увольнять их.

Тут Гаевский уже не выдержал и пошел решительно в контратаку:

– Андрей Иванович, я все это понимаю. Но ведь вы не поборолесь за меня, а смиренно приняли решение НГШ (начальника Генштаба). К тому же по вашему рассуждению выходит, что для Генштаба сегодня нужнее офицеры, не имеющие своего угла, а не те, которые...

В этот момент на тумбочке у стола Курилова пружинисто и глухо зажужжал телефон закрытой связи, – генерал снял трубку. Судя по некоторым его фразам и теплему, дружескому тону речи, говорил он с хорошо знакомым человеком. Курилов несколько раз произнес слово «НИОКР» (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и упомянул «карандаш» (так в обиходе генштабисты называли новую зенитную ракету, которая уже больше года испытывалась на полигоне Капустин Яр под Астраханью).

Гаевский знал, что деньги, выделенные из военного бюджета на ее разработку по госбронзаказу, уже заканчиваются, и было похоже, что собеседник Курилова просил его помочь с дальнейшим финансированием испытаний «карандаша».

– Ну ты, брат, и хитер! Меня на пулемет без бронежилета бросаешь! – незлобливо восклицал Курилов, – с твоей просьбой зайду к Егорычу (это было отчество начальника Генштаба) генералом, а выйду пенсионером... Начальство не любит, когда у него просят денег... Оно любит, когда деньги ему дают... Хе-хе-хе...

Телефонный собеседник Курилова что-то минуты две говорил ему. Генерал то хмурился, то ухмылялся, то повторил два раза:

– Ладно-ладно, ради тебя – рискну...

А затем он с явным блаженством в глазах заговорил о предстоящей субботе, о рыбалке, о каком-то озере, на которое он, судя по всему, должен был ехать с тем человеком, который находился на другом конце провода.

А ближе к окончанию разговора генерал сказал в трубку:

– Кстати, Иваныч, у меня тоже есть просьба... Лич-на-я. Ты понял? Лич-на-я. У тебя там свободной офицерской должности для моего хорошего человека не найдется?.. Ты его наверняка знаешь. Гаевский... Что?... Да-да, он самый! Так что не кот в мешке. Как от сердца отрываю... Жалко отпускать такого спеца. Но ведь приказ...

Курилов прикрыл микрофон телефонной трубки мясистой ладонью, весело подмигнул Гаевскому и шепнул:

– Померанцев!

Глеб Иванович Померанцев был начальником военного научно-исследовательского института на Ленинградском шоссе, – Гаевский знал его.

Курилов продолжал вежливо, но упорно наседавать на Померанцева:

– Иваныч, я ведь тебя тоже не раз выручал... Забыл?.. Ты про братца своего забыл?.. А про Смирнова?..

И – после паузы:

– Ну это уже совсем иной разговор!.. Я всегда подозревал в тебе неистребимые запасы советской совести... Кстати, как там поживает старикан Кружинер? Привет ему... Да-да, забавный дедуган, ходячая история... Энциклопедия анекдотов! Он как-то мне рассказывал анекдот про смерть Абрама. Не слышал? Абрам умирает, значит, и приказал и в спальне, и везде в доме выключить свет и собрать семью. И вот когда все собрались, Абрам спрашивает в темноте:

– Сара тут?

– Тут я.

– Циля тут?

– Тут.

– Мойша тут?

– Тут, папа.

– Есик тут?

– Тут, дедушка.

– А какого же хера свет на кухне горит?!

И Курилов рассмеялся, правда, смех его был уже жалкой копией того смеха, какой вырвался из него в тот раз, когда старик Кружинер рассказал ему этот анекдот на полигоне под Астраханью.

Переговорив с Померанцевым, Курилов положил на место телефонную трубку и бодрым тоном победителя стал басить:

– Ну что, Артем Палыч, тебе, считай, повезло! Померанцева я уломал. Он согласен взять тебя. У него есть там вакантная офицерская должностенка...

– А если начальник Генштаба будет против? – мгновенно вычислил возможную опасность Гаевский.

– Я с ним насчет тебя переговорю. И все же не думаю, что он злопамятный до такой степени.

Засветились надеждой печальные глаза Гаевского. А в веселых глазах Курилова наоборот – вспыхнула хмурая настороженность. И голос уже холодный, с наждачком:

– Но есть одна неприятная закавыка, Палыч. Должность там это... подполковничья...

После этих шершавых слов генерала на лице Артема Павловича – снова унылая задумчивость.

– Я понимаю, я тебя по-ни-маю, – в растяжку произнес Курилов, – взять в Генштабе полковничью высоту, откуда и до генеральской звезды недалеко, а теперь сдать ее без боя – обидно, конечно. Но если еще хочешь послужить, – соглашайся. А впрочем, сам решай, – либо вешать китель на гвоздь и становиться пенсионером, либо идти на нижестоящую должность. Моя совесть перед тобой чиста.

– Андрей Иванович, – растерянно заговорил Гаевский, – а вдруг меня и там сократят?

– Ну, это исключено, – ободряющим тоном отвечал Курилов, – пока институт Померанцева по заказу Генштаба занимается «карандашом», его кадры вряд ли пропальвовать будут.

Генерал замолчал, дробно барабанил пальцами по столу. Затем продолжил, возвратясь на тот же круг мыслей:

– Да-да, что касается института Померанцева, то резать его штаты Сердюков с Вакаровым вряд ли рискнут. В Кремле ждут новую ракету и Первому уже доложено... Так что не дрейфь. Посидишь у Померанцева годик, а потом я тебя снова в Генштаб заберу.

Сказав это, Курилов повернул голову в сторону висевшего за его спиной портрета круглолицего министра обороны в гражданском костюме и с чубчиком на бочок. Взглянул на него и негромко, с налетом презрения в басистом голосе, произнес:

– Ну не будет же вечно длиться этот кадровый бардак.

Гаевский нехотя, но согласился. А что было делать?

Он хотел служить.

И часто потом думал о значении случайностей в офицерской судьбе. Ведь не позвони в тот день и в тот час Померанцев Курилову, и был бы он, Гаевский, полковником запаса, и ездил бы по московским фирмам и конторам в поисках подходящей работы. Или играл бы в домино с отставничками под липами во дворе. А теперь вот как все вдруг спасительно обернулось. Хотя и досадно, конечно, что из Генштаба приходится уходить с понижением в должности. Но вот такая она – жизнь. Дает иногда вроде шоколадку, а внутри – горчица...

2

Военный научно-исследовательский институт на Ленинградке располагался на одной территории с оборонным заводом, который уже лет 60 выпускал зенитные ракеты (теперь он входил в концерн). Еще во времена Лаврентия Берии там ученых, конструкторов и заводчан, – то есть, науку и практику, – разместили под одной крышей.

Институт этот (его называли еще номерным) был хорошо известен Гаевскому, – отдел Генштаба, в котором он служил, занимался вопросами противовоздушной и противоракетной обороны и потому присматривал за разработкой «карандаша». Да и был, по сути, его заказчиком и куратором.

Полковник не раз бывал там, на Ленинградке, в сером и грандиозном здании, построенном в стиле сталинского ампира.

На новом месте Артема Павловича приняли, как старого знакомого, – среди сотрудников института было немало его однокашников и по воронежскому училищу радиоэлектроники, и по тверской академии противовоздушной обороны. Почти все они были уже офицерами запаса или в отставке. И лишь трое – Томилин, Дымов и Таманцев – все еще были в кадрах и носили погоны.

Полковник Томилин был начальником отдела, – Гаевский стал его заместителем. Майоры Дымов и Таманцев служили на должностях старших офицеров-программистов и часто пропадали на ракетном полигоне под Астраханью.

Всегда радушный Томилин, как показалось Гаевскому, на этот раз встретил его настороженно и сухо, даже с некоторой подозрительностью. Хотя в первый же день он предложил Артему Павловичу общаться на «ты».

Чтобы сразу снять все недоразумения, Гаевский уже во время их первой беседы сказал Томилину:

– Если ты думаешь, что я буду подсиживать тебя, – выброси это из головы. Даю слово офицера, что напишу рапорт на увольнение в тот же день и в тот же час, когда ты заподозришь меня в желании занять твое место. К тому же Курилов обещал забрать меня в Генштаб, как только пройдет эта сердюковская кадровая вакханалия.

После этих слов, заметил Гаевский, Томилин слегка оттаял.

3

Гаевскому достался небольшой, но уютный кабинет с видом на внутренний двор института – с круглым и сильно облупленным фонтаном давних советских времен, со старыми, уродливо разросшимися яблонями и серыми деревянными скамейками под ними. На этих скамейках в обеденный перерыв и при хорошей погоде куряги самозабвенно травились сигаретным дымком.

Там на солнышке вместе с институтским народом любил покурить и Гаевский.

– Ну что, мил челаэк, удастся американскую штуковину расколоть? – спросил его однажды «дед» – ветеран института Яков Абрамович Кружинер (он работал тут инженером-конструктором с 50-х годов прошлого века, сотрудники в летах почтительно называли его «талисманом», а остроязыкая и ехидная молодежь – заместителем начальника по анекдотам).

В знак уважения к заслугам «деда» руководство института оставило Кружинера в штате после его выхода на пенсию, – для него создали символическую должность, которая называлась «консультант по общим вопросам»).

Опираясь обеими руками на черную лакированную трость и кряхтя, Кружинер присел на теплую скамейку рядом с Гаевским.

«Дед», видимо, уже знал, чем в те дни занимался отдел, куда назначили полковника, – где-то на американском ракетном полигоне Уайт Сэндс наши люди из Главного разведуправления Генштаба добыли и переправили в Москву один из блоков системы бортового управления ракеты, и теперь надо было разобраться с его хитроумной начинкой.

– Двигаемся помаленьку, – уклончиво ответил Гаевский.

– Э-хе-хех, – протянул Кружинер, – если бы вы так, мил челаэк, в свое время ответили Серго – сыну Лаврентия Палыча Берии, который в нашем КБ-1 был главным конструктором, то могли бы и в шарашку лет на десять загреть.

Старику явно хотелось поговорить.

– Да-да, куда-нить в Сибирь, – продолжал он, – а то так и к стенке... Помню, как мы под руководством Серго тут двадцать пятую систему разрабатывали...

– «Беркут», что ли? – спросил Гаевский.

– Ее самую, – отвечал «дед», явно довольный, что нашел знающего предмет разговора собеседника. – Так вот, мил челаэк, – у нас на этой самой зенитной ракетной системе не получался синхронный датчик. А из-за этого сроки испытаний ракеты срывались. И тогда Серго Берия приказал всех инженеров и конструкторов собрать в его кабинете. И стал требовать докладов, – в чем проблема? Ему и докладывали вот так же: мол, двигаемся потихоньку... Но там схема подключения датчика пока не работает, там надо его на другую цепь замкнуть. Слушал, слушал, слушал наши объяснения Серго, а потом достал из кобуры револьвер, положил его перед собой на стол и...

Тут Кружинер замолчал, увидев, что в их сторону по дорожке среди старых яблонь быстро идет Наталья из второго отдела и помахивает мобильником. Старик стал лихорадочно хлопать себя по карманам пиджака и брюк, приговаривая «ек-макарек»...

– Яков Абрамыч, вы свой телефон у нас в отделе забыли, – сказала Наталья с улыбкой певучим голосом, передавая мобильник Кружинеру, – вас уже обзвонились все.

Взгляд ее скользнул по лицу Гаевского и, как ему показалось, застыл на мгновение, когда их глаза встретились.

Что-то загадочное мелькнуло в ее мимолетном взгляде то ли усталых, то ли печальных глаз, – в любом случае взгляд этот был не равнодушным и не дежурным. И он как бы споткнулся на лице Гаевского, – полковник уже немало пожил на свете, и умел хорошо читать женские глаза. Женщины ведь совершенно разными глазами смотрят на заинтересовавшего их мужчину, с которым можно закрутить шуры-муры, и на красавца, не отвечающего их вкусам.

Когда Наталья уходила, Кружинер и Гаевский дружно и мечтательно смотрели ей вслед. Словно чувствуя на себе их мужские взгляды, Наталья стала одергивать вязаную кофту ниже талии. Черные брюки плотно облегли налитые бедра ее стройных, красивых ног. Да и вся фигура ее была великолепно сложена. А как она шла, как шла она, с грациозной плавностью неся все свои женские богатства...

– Н-даааа... – словно выйдя из забытья, мечтательно протянул Кружинер, – хороша Наташа, да не наша... Знаете, есть такой анекдот про красивых дам. Одна женщина спрашивает у двух мужиков вроде нас:

– Вот что вы делаете, как только увидите красивую женщину?!

Первый отвечает:

– Ну, это... я шевелю мозгами...

А женщина ему:

– Если баба очень красивая, то у вас от шевеления мозгами может случиться черепно-мозговая травма!

А второй замечает:

– Да нет у него мозгов! Вчера на день рождения жены с любовницей приперся!

Гаевский хмыкнул.

– Так на чем мы остановились, мил челаэк? – спросил Кружинер Гаевского. Но тот молчал, все так же продолжая задумчиво глядеть вслед удаляющейся Наталье.

– А? Что? Что вы говорите? – вскинулся он, – извините, задумался.

Кружинер хитро ухмыльнулся и протянул насмешливым тоном:

– Н-даааа, тут есть над чем задуматься... Непочатый край работы...

И он продолжил прерванный появлением Натальи рассказ о том, как Серго Берия собрал в своем кабинете инженеров и конструкторов, чтобы разобраться, почему не работает какой-то датчик.

– Значит, слушал, слушал, слушал наши объяснения Серго, – смакуя каждое слово, говорил Кружинер, – а потом достал из кобуры револьвер, положил его перед собой на стол и... начал протирать оружие белым носовым платком. Протирает, протирает с таким, знаете, – ну с совершенно определенным видом. А у нас у всех – мурашки по спине. А Серго и говорит грозно:

– Значит так... Я не хочу знать, какие у вас там еще проблемы, но чтобы к четвергу датчик работал!

Бездонный Кружинер тогда рассказывал Гаевскому еще какие-то истории и анекдоты, но полковник слушал его вполуха, потому как снова увидел Наталью, – она с книгой сидела на залитой яркоапельсиновым апрельским солнцем скамейке по другую сторону мертвого фонтана, густо засыпанного прошлогодними листьями старых яблонь. Тонкая сигарета, зажата длинными пальцами, едва заметно струилась голубоватым дымком. Она красиво держала руку «на отлете».

Гаевский осторожно, украдкой, дабы глазами не выдать своего липкого интереса к этой молодой женщине, поглядывал на нее.

Было ей лет 35, может быть, чуть больше. У нее не было, как часто говорят, «правильных черт лица», – но даже слегка длинноватый нос и не слишком пышные губы лишь добавляли лицу ее прекрасную своеобычность.

Впрочем, как и непонятного цвета глаза, слегка прикрываемые не по возрасту шаловливой челкой. Русые и богатые волосы ее от челки были зачесаны назад, а на затылке взяты в задорный пучок, – эта милая, сделанная как бы наспех прическа, вызывала у Гаевского такое «заводное» мужское чувство, которое он сам себе не мог объяснить. В отличие от того, абсолютно понятного ему чувства, которое возникало в нем при взгляде на губы Натальи. Такие же заманчивые губы были у известной киноартистки Брокловой, – прикосновение таких губ мужчины мечтают ощутить не только на своем лице, на своих губах, но и в других местах тела...

Гаевский не был исключением.

Он разглядывал Наталью глазами художника, – еще с юности обожал живопись, когда-то даже занимался в художественной студии, но потом жизнь потекла по другому, военному руслу. Он рисовал во всех гарнизонах, где служил, испытывая особое душевное наслаждение. Хотя служба редко дарила ему время для этого занятия. А свои картины он раздавал друзьям-офицерам, которые единодушно признавали в нем талант самобытного живописца (особенно, если они были при крепком подпитии). Во многих гарнизонных квартирах висела одна и та же его картина, которую он по памяти любил писать маслом, – «Утро на Хопре». Она напоминала ему и детство, и теплое лето, и школьные каникулы в дедовском доме. Прозрачная марля тумана тянулась над лугом. И в этом жидковато-белом мареве лишь угадывались жующие траву лошади, а неподалеку от них и люди, сидящие вокруг костерка, – такого же оранжево-яркого, как тоненькая полоска восходящего солнца, волнисто лежащая на темной макушке едва различаемого в утренних сумерках угрюмого леса.

И уже в Генштабе, в недавние годы, иногда нападал на него ностальгический приступ – и он ехал в художественный салон на Никольской, чтобы купить рамки, холсты, кисти, масляные краски. И писал, писал, писал, – самозабвенно и неистово размазывая цветное масло по холсту.

Когда он писал очередную картину дома или на природе, жена Людмила подходила сзади, поправляла очки на курносом носу, склонялась к мольберту и говорила с иронией одно и то же:

– Н-да, не Кустодиев... И даже не Моне.

После этого рамки, холсты, кисти, масляные краски снова продолжали долго пылиться в темноте антресоли, – до нового приступа вдохновения их хозяина. Впрочем, жена Людмила, преподававшая русскую литературу в университете, с таким же раздражающим душу Гаевского холодным сарказмом относилась и к его поэтическим опытам. Он с той же школьной поры, когда пристрастился к живописи, пописывал и стихи, – Людмила называла их «самодельными». И, прочитав очередной опус мужа, своим профессорским тоном выносила приговор:

– Это же не поэзия, а примитивно зарифмованная проза. Любовь-морковь. Роза-береза. Набор банальностей. Нет образов, нет метафор, нет неожиданных сравнений и рифм... Да и техника стихосложения совершенно безобразная. В одной строчке ямба, в другой – хорей...

После очередного такого вердикта Гаевский решил больше не показывать жене свои «самодельные» стихи. Но время от времени, когда приходило вдохновение, все же писал их. Однажды перед концертом в Кремлевском дворце он с Людмилой прогуливался в Александровском саду. Постояли у могилы Неизвестного солдата, где денно и ночью струился Вечный огонь. Там вдруг какая-то шальная мысль, вырвавшаяся из давно отведенного ей лона, осенила его: «А почему же солдат Неизвестный? Неизвестный солдат мог быть и русским, и украинцем, и белорусом, и башкиром, и эвенком, и даже евреем мог быть. И даже если он пропал без вести, – разве его можно назвать Неизвестным? У него же есть и фамилия, и имя, и отчество. А главное – он был ведь советским»...

Справа и слева, и за спиной он слышал негромкие слова людей, которые подходили к могиле, – кто поклониться, кто положить цветы на гранит: «Неизвестный солдат... Неизвестный солдат... Неизвестный солдат»...

– Что ты там бормочешь? – спросила его Людмила, когда они шли по аллее Александровского сада к Кутафьей башне. Он ответил:

– Да так, память тренирую.

А уже во время концерта достал из кармана маленькую телефонную книжечку и авто-ручку. И наспех, присвечивая мобильником, коряво записал:

*Не поддавайтесь логике невесткой,
Коль Неизвестный Воин говорят.
Есть у него фамилия – Советский,
И имя всем известное – Солдат!..*

Перед Днем Победы он электронной почтой отправил эти свои четыре строчки в московскую районку «Крылатские холмы». А где-то в середине мая, перед тем, как завернуть в газету домашние тапочки (ехали в гости с ночевкой к Бурцевичам), Людмила шелестнула бумагой, по привычке выискивая на последней странице газеты кроссворд или еще что-нибудь интересное. И вдруг громко прочла ему в прихожей эти четыре строчки. И сказала восторженно:

– Как хорошо написал этот... как же его?... Вот. Си-ре-нев.

Он не признался ей, что это были его стихи.

А такой псевдоним он выбрал потому что обожал сирень, особенно во время ее цветения. Каждую весну он азартно макал кисть в белое или в бледно-розовое масло на палитре – на холсте вырастали кусты разухабисто цветущей сирени на фоне древнего храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Соседство старины и юных цветов-недолгожителей создавало философский эффект родства вечного и временного.

4

Старик Кружинер, сидящий рядом с Гаевским на теплой скамейке у мертвого фонтана, рассказывал ему очередную то ли быль, то ли небыль из истории института, который был кон-

структорским бюро в прежней, еще советской жизни. Но Артем Павлович лишь вполуха слушал его. Он украдкой, но цепко разглядывал Наталью глазами художника. Она все так же, красиво держа на отлете руку с зажатой меж длинных пальцев тонкой дамской сигаретой, читала книгу. Ветки старой яблони, покрывшейся на толстом стволе зеленоватым мхом, слегка покачивались на теплом апрельском ветру.

«Вот так я ее и нарисую по памяти, – думал Гаевский, – молодая женщина, читающая книгу под лимонным светом солнца... А на переднем плане будут ветки старой яблони с набухающими почками и со стволом, облепленным зеленым мхом».

Правда, набухающих почек на ветках еще не было видно. Но он решил, что все равно нарисует их. И вот эти старые, пожухлые, цвета старой меди, яблоневые листья у ее ног тоже нарисует. Старые листья – как отжитое время, как архив некогда испытанных чувств...

Он видел в этом только ему ведомый смысл, втайне считая себя художником-символистом.

Ему казалось, что и душа его чем-то похожа на эту старую яблоню, – у которой были и еще живые, и уже сухие ветки. А под старой, потрескавшейся и покрытой мхом корой ствола еще жила животворная влага, готовящая яблоню к очередному весеннему цветению. Да, да, да – старые листья на земле – как память о пережитом. Новых листьев на ветках еще не было, не было даже почек, но Гаевский уже видел, воображал их. Он чувствовал, что и в нем, в сердце его, в тот день словно прорастало что-то новое, – он еще не мог дать ему точного названия...

5

В начале 20-х чисел апреля в институте был субботник. Веселый народ с граблями, лопатами, метлами убирал внутренний двор. Кучерявился сизый дымок над плохо горящей пирамидой из сырых и отмерших яблоневых веток, а выставленный на подоконнике третьего этажа репродуктор то ли тенором, то ли баритоном Марка Бернеса надрывался любовью к жизни. Когда он умолкал, слышался голос старика Кружинера, рассказывающего очередной анекдот одесского замеса, – мужчины и женщины дружно смеялись.

Полковник Томилин, облаченный в новенький спортивный костюм «Адидас» и не подходящие случаю, нелепо белоснежные кроссовки, с важным начальственным видом неспешно орудовал новенькими граблями и одновременно давал указание майору Таманцеву:

– Ты лучше сразу три по ноль-семь бери, чтобы лишний раз не бегать.

Майор Дымов явно был угодливым карьеристом: он в старой камуфляжной куртке шестеркой увивался возле полковника и все норовил забрать у него грабли, приговаривая: «Не царское это дело».

* * *

Гаевский обкапывал старую яблоню, когда в конце дорожки среди деревьев показалась Наталья. Она несла переданное ей хромым завхозом Петровичем ведро с ослепительно белой известью. Заметив это, полковник шустро вогнал лопату в землю и стремительно направился навстречу Наталье, чтобы взять ведро. Она охотно уступила ему ношу, бросив на Артема Павловича короткий взгляд своих грустноватых глаз (эта загадочная грусть в ее глазах разжигала в нем любопытство).

Он поставил ведро возле яблони и размешал известь сухой яблоневой веткой. Затем взял у Натальи новенькую щетку, мокнул в белую кашу и мазнул ею ствол дерева:

– Ой, что же вы делаете?! – воскликнула Наталья, – надо же сначала мох содрать.

Голос у нее был мягкий, певучий, теплый. А в глубине его он чувствовал такие ноты, которые обычно присущи не мелкой, не пустой женской душе (возможно даже, что ему так тогда показалось, но, видимо, он влюблялся уже и в ее голос).

Гаевский застыл и посмотрел на Наталью с виноватым выражением лица, – затем уже смело заглянул в эти грустные очи с нависающей над ними шаловливой девичьей челкой. И с некоторым гусарским форсом резко кивнув головой сверху вниз, залихватским тоном выпалил:

– Позвольте представиться, – полковник Гаевский Артем Палыч... Первый отдел... Можно – просто Артем...

– Очень приятно, – игриво ответила она с легкой улыбкой, – ну а я просто Наталья из второго отдела. Можно просто Наташа. Но нельзя – Наталья Ивановна...

Он смотрел на нее, как заколдованный, не замечая, что белая известь с края щетки густо капает на его старые, но хорошо надраенные офицерские ботинки...

Она же то отводила глаза, то снова, уже смелее, поглядывала на него. И он чувствовал, что в этой игре их взглядов появляется завязь бессловесного, но понятного обоим разговора чувств...

6

В тот день ему очень хотелось, чтобы субботник длился как можно дольше. У него было странное состояние: он чувствовал, что и небо, и солнце, и старые яблони, и веселое копошение людей вокруг, и кучерявый дымок над разгоревшимся костром, – все это обретало для него какой-то особый, праздничный смысл.

И все лишь потому, что эта молодая женщина с грустными глазами и заманчивыми губами была рядом и однажды не отвела взгляд, когда он смотрел на нее до неприличия долго. Она и раз, и два опустила ресницы, но затем все же ответила ему тем смелым и теплым женским взглядом, который вселял в его душу сладкую надежду...

Размазывая жирную известь по стволу старой яблони, он тихонько мурлыкал себе под нос:

*Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.*

– Товарищ полковник! – вдруг услышал он манерно-официальный голос майора Дымова, – ракеты в контейнер заправлены, готовность к пуску – полная!

Это значило, что наступала самая приятная часть субботника – застолье.

7

В отделе полковника Томилина была офицерская пирушка. Хмельные темпераментные разговоры о причинах недавно провалившегося пуска новой зенитной ракеты на полигоне под Астраханью как-то незаметно перекинулись на министра обороны Сердюкова (его здесь, заметил Гаевский, как и в Генштабе, и войсках, пренебрежительно называли то «Табуреткинским», то «Фельдмебелем», то просто «Мебельщиком» – ходили упорные слухи, что в молодые годы будущий министр обороны России заведовал секцией в магазине ленинградского Мебельторга).

– Господа офицеры, я не пойму! – страстно говорил уже хорошо запьяневший и розово-щекий майор Таманцев, – ну ни хрена не пойму одной вещи! Если начальник Генштаба Вакаров – профессиональный военный, то почему он идет на поводу у этого пиджака из Мебельторга? И потакает его глупым решениям...

– Товарищ майор, давайте без этого... без ля-ля, – вдруг раздался по-командирски жесткий голос отставного полковника Гучкова, – вы еще академию не закончили, а пытаетесь судить о стратегических вопросах! Легко сказать «глупые решения». Вы факты, факты давайте. Не надо ля-ля!

В кабинете Томилина разлилась настороженная и хмурая тишина – все сидели с таким выражением лиц, словно вот-вот рядом должна была взорваться бомба.

Таманцев смотрел на Гучкова недобрыми хмельными глазами и хищно грыз бордовый шарик редиски. Затем заговорил медленно и сурово:

– Вы требуете от меня факты? Их есть у меня. Разве не глупость – объединить и убрать из Москвы академии Жуковского и Гагарина? Разве не глупость – ликвидировать в армии институт прапорщиков и мичманов? Разве не глупость – закупать у итальянцев бронемшины «Ивеко», если наши «Тигры» обошли их на сравнительных испытаниях? А эти... большие десантные корабли «Мистрали», которые во Франции Сердюков заказал, – зачем они нам? У меня брат в Главном штабе ВМФ служит. Так вот он растолковал мне, что эти французские корыта мы заказали, а задачи под них до сих пор адмиралы не могут придумать!..

– Ну это, знаете ли, всего лишь майорские размышления, – отвечал Гучков, – так сказать, взгляд с майорской кочки... А есть еще стратегические соображения в наших военных верхах... И они нам неведомы. Нам не все положено знать. Если мы чего-то не понимаем, то это не значит, что нами правят дураки!

– Извините, Пал Степаныч, но вы неправы, – двинулся на защиту Таманцева майор Дымов, – все эти стратегические соображения (тут – насмешливый тон) должны быть понятны всем – от генерала до солдата! Я, как и Таманцев, тоже не понимаю этих самых стратегических соображений (опять ехидный тон). Если это не глупость и не авантюра, – докажите нам! Переубедите нас!

Гучков пошел в контратаку:

– Да кто вы такой, чтобы министр обороны и начальник Генштаба отчитывались перед вами?

Порозовевшая публика за большим столом жевала закуску и с любопытством поглядывала теперь на Дымова, ожидая его ответа. «Какая интересная тут, оказывается, жизнь, – думал Гаевский, – шел на пьянку, а попал на митинг».

– Кто я такой, говорите? – тихо и уверенно произнес майор и поднялся со стула. – Я – офицер Российской армии! Я хочу понимать маневр моих командиров! А я его не понимаю. Я не понимаю, почему начальник Генштаба, да и другие замы Сердюкова, послушно клацают каблучками там, где ошибки очевидны! Если мне, майору, дурость очевидна, то почему ее не замечают генералы армии и не протестуют?

– А ты попробовал бы не клацать каблучками на их месте, – включился в беседу полковник Томилин, – одно слово поперек министру сказал, – и завтра пенсионер! В лампадах огурцы на даче в парнике ты выращивал бы! Вот. Генерал – это не звание, это счастье! И только дурак не оберегает его!

В кабинете, над бутылками и закуской, раздалось и затихло скупое «хе-хе-хе».

– А что же вы хихикаете, господа офицеры? – еще больше распаялся майор, – так что же получается? Лояльность начальнику – выше офицерской чести и интересов дела? А?

– Ишь как молодежь распетушилась, – отозвался степенный отставной полковник Клементьев, – чтобы на таких хлебных должностях плевать против ветра?.. То есть, идти против начальства... Тут надо, знаете ли, определенное мужество иметь. Да-да, мужество! Вон первый

зам Вакарова – генерал-полковник Герасимов Валерий Васильевич, честно и смело выступил против авантюризма Сердюкова. И где он сейчас? Где? А Центральным округом командует! А ведь он до Генштаба и так двумя... Двумя округами уже командовал! И теперь по третьему кругу пошел!

– Я недавно был в Генштабе, – опять скрипучим басом включился в разговор Томилин, – там поговаривают, что Вакаров опасается, как бы Герасимов его должность не занял. Он якобы и подговорил Сердюкова кинуть Герасимова еще раз на округ, подальше от Москвы... Но попомните мое слово! Герасимов еще вернется в Москву на белом коне. Такие генералы не завянут в оренбургских степях!

– Кадровый бардак не только в Минобороны или в Генштабе творится... Он и у нас под носом... Он и в нашем же концерне творится, – степенным и уверенным тоном вклинился в беседу подполковник запаса Юдин, его облысевшая до лакового блеска голова нервно подергивалась, – Сердюков с Вакаровым военпредов в концерне через одного уже выкашивают. Это же преступление!

Сказав это, Юдин посмотрел на Гаевского и при полном молчании публики спросил:

– Я правильно говорю, Артем Палыч?

Все настороженно и жадно ждали его ответа – офицерам явно хотелось знать, что и как ответит Гаевский, что в голове этой птицы, неожиданно прилетевшей в институт из Генштаба?

– Да, вы правы, – начал он в полной тишине, – я тоже считаю, – это преступление. Я не только на совещании в Генштабе, но и в глаза Вакарову однажды это сказал. Нельзя из 24 тысяч военпредов оставлять в оборонке только шесть тысяч. А он мне: «Не лезь не в свое дело». Но когда с ракетами начнутся нелады, тогда Генштаб наш будет чесать репу и просить вернуться уволенных военпредов. Да только все ли они захотят вернуться?

– Хренушки! – воскликнул вскочивший с места Таманцев. Он нетрезвой рукой с трудом выудил на столе бутылку водки и стал небрежно наполнять рюмки, приговаривая с плохой дикцией, – таааарищ полковник, я ггггоржусь вами! Предлагаю тост – за офицерскую порядочность! За смелость в борьбе с дураками!

Хмельная публика одобрительно загомонила.

Чокнулись, выпили, закусили.

А лысый Юдин снова стал солировать:

– Вот пришел в концерн после уволенного непонятно за что Журбея новый генеральный из Питера, – явно ведь из варягов и с волосатой рукой. Пару месяцев отработал и вместо того, чтобы после двух неудачных испытаний «карандаша» разобраться в причинах и двигать проект дальше – стал занижать боевые характеристики ракеты! А наверх доложил, что, дескать, Журбей якобы слишком амбициозные и нереальные параметры в ракету заложил. Но это ведь ложь! Это разве тоже не преступление? Многие ветераны-конструкторы из команды Журбея в знак протеста следом за ним с фирмы ушли!

– Стоп, стоп, стоп! – грозно вскричал Томилин, звонко стуча жирной вилкой по пустому стакану, – хватит уже этих производственных разговоров! Плавно переходим к бабам и анекдотам!.. А вот и Яков Абрамыч уважаемый пожаловал к нам! Милости просим к нашему столу. На-ли-вай! Предлагаю тост – за ветеранов!

Голоса одобрения, звяканье стаканов.

«Я обязательно попрошу Томилина больше не называть женщин «бабами», нехорошо это», – думал Гаевский.

Тут раздался пьяненький голос Дымова:

– Яков Абрамыч, расскажите че-нить про женщин!

– Значит, дело было так, – неспешно начал Кружинер, явно польщенный вниманием к себе. Маленький сын увидел папу голым и спрашивает у него:

– Папа, а почему у тебя такой большой писюн?

– Повтори, что ты сказал?!

– У тебя большой писюн.

– Еще раз повтори!!!

– Ну, у тебя большой писюн.

– А теперь иди и это нашей маме скажи. А то она считает, что он у меня маленький. Мальчик выполнил просьбу отца и возвратился.

Отец спрашивает:

– Ну что, сынок, сказала мама?

– Она сказала, что я еще не видел писюны у наших соседей. Особенно с трех первых этажей!

В кабинете Томилина – хохот и гогот.

А Кружинер уже вошел в раж, валяет следующий анекдот:

– Сара! Что мне делать? Я на этом диване изменила своему мужу. Может быть, мне его продать?

– Ты что, дурочка! Если бы я все такое продавала, у меня остался бы один шнур от абажура...

И вновь в кабинете Томилина – дружный и веселый мужской смех. Кружинера уже не остановить:

– Роза Марковна, почему вы решили развестись со своим мужем?

– Та не могу я с ним жить, потому что он относится ко мне, как к собаке.

– И в чем это выражается?

– Он требует от меня верности!..

Пока смех стихал, Кружинер отхлебнул водки из рюмки, закусил маленьким алым помидором, хитро улыбнулся и снова нырнул в бездонный колодец своих одесских анекдотов:

– Доченька, ты уже взрослая, настало время таки поговорить с тобой о сексе.

– Папа, может, я лучше с мамой таки об этом поговорю?

– Вот-вот, и за меня таки словечко замолви!

8

После пирушки Гаевский вернулся в свой кабинет, пораженный тем, что услышал от Юдина про заниженные боевые характеристики «карандаша». Это было для него новостью.

Журбей изначально вместе с институтом Померанцева вел проект нового зенитного ракетного комплекса, закладывая в него уникальные тактикотехнические характеристики. Да, они были амбициозными, трудно достижимыми, но реальными. Ракета с переменным успехом, но шла.

И вот на самом пике разработок, – бац, и на тебе! Журбея убрали. А на место его назначили какого-то безвестного Гребнева из Питера. И он, оказывается, учинил вот такое... Сдал назад, занизил боевые характеристики ракеты...

Гаевский вспомнил: когда Журбея внезапно заменили Гребневым, он спросил генерала Курилова о причине такого решения. В ответ:

– Питерских блатняков к денежным корыту подтягивают. Но ты в это дело не лезь. У этого Гребнева – «крыша» та еще...

А еще Курилов тогда поведал Гаевскому то же, что он сегодня услышал от Юдина – в знак протеста из-за смещения Журбея, с ним ушла почти вся его команда заслуженных стариков, в том числе – нескольких лауреатов госпремий. А пришедший им на смену молодняк с ходу не потянул проект.

И вот теперь, когда в Генштабе ждут ракету для новой зенитной системы и восторженно шепчутся о том, что она будет способна доставать вражьи цели уже в ближнем космосе, – вдруг выясняется, что это блеф... Гребнев делает шаг назад.

«Интересно, в верхах это знают? – думал Гаевский, – а ведь Курилов наверняка знает. Должен знать. Но почему-то помалкивает»...

* * *

Он посмотрел в окно. С высоты четвертого этажа ему было хорошо виден внутренний двор института с побеленными стволами старых яблонь. Вспомнил и улыбнулся: «Вы колготки ей повыше, до первых веток натягивайте». Так сказала ему Наталья, когда он обмазывал известью ствол яблони.

Вспомнил о том, как хорошо, как упоительно работалось ему, когда она была на субботнике рядом. Что-то особенное, похожее на сладкую мужскую истому, зарождалось в нем. Он еще не мог дать этому точного названия, но смутное предчувствие нового, романтического периода в его жизни грело душу.

Подобное он испытывал давным-давно, еще в школе, в одиннадцатом классе, когда там появилась курчавая блондинка Лиза Измайлова, – ее отца-офицера из какого-то дальневосточного гарнизона перевели по службе в Воронеж. После появления Лизы в классе нудная учеба обрела вдруг для Гаевского иной смысл, – он летел на уроки, чтобы увидеть и ее лицо с веснушками, и тонкую шею, обрамленную белой кружевной вязью воротничка, и большие загадочные глаза, и услышать ее тонкий девичий голосок...

Сколько лет, сколько лет уже прошло, а он все это хорошо помнил. В душе его был особенный уголок, куда память любила заглядывать в минуты ностальгических воспоминаний о школьной юности, о той поре, когда просыпались первые чувства влюбленности.

9

Вот и сейчас, уже на пятом десятке, было в душе Гаевского что-то еще до конца не осознанное, ясно не прочувствованное, но влекущее, заманивающее в сладкие сети. Он начинал жить с этой сокровенной тайной, она грела его и увлекала непредсказуемым сюжетом.

Он еще не мог дать себе ответа на вопрос – что это?

Начало обычного мужского влечения к этой молодой женщине, которая всем своим естеством – и голосом, и глазами, и губами, и прической, и фигурой, и соблазнительной походкой притягивала его к себе? Или это банальная страсть самца, одурманенного желанием овладеть очередной «свеженькой» жертвой его похоти?

Или же это все же непознанное чувство, которое он считал когда-то любовью, хотя оно, может быть, на самом деле таковым и не было? Сказал же кто-то: «Любовь – это привидение, – все о ней говорят, но никто её не видел».

Но разве он в курсантские свои годы не рвался на свидания к Людмиле, забывая обо всем? Разве не звучала в его душе тогда возвышенная музыка счастья, разве не кружили ему голову ненасытные поцелуи их юных губ в разгаре взаимных чувств? Какое же волшебное времечко было! Когда они все откровеннее сближали свои желания, хорошо понимая, что самое главное еще впереди, и это самое главное манило их дальше и дальше – в обворожительный мир самой природой данных им чувств и ласк.

Они оба хорошо помнили тот день, когда родители Артема с его младшим братом уехали отдыхать на Черное море, а в опустевшей квартире Гаевских все и случилось. Предусмотрительный курсант четвертого курса училища радиоэлектроники Артем Гаевский заранее купил

новенькую белоснежную простыню и покрыл ею родительскую кровать, плотно закрыв за собой дверь в спальню перед приходом студентки филфака Людмилы.

Все как нельзя лучше получилось строго по разработанному им незатейливому сценарию: шампанское, свечи, проникновенное польское танго в теплом полумраке, смелые объятия, поцелуи, надрывное дыхание, признание в любви, предложение выйти замуж и раздольная постелька с целомудренной простынкой...

То была их первая с Людмилой ночь, которую они, кажется, и не заметили, восторженно увлеченные игрой ласк и чувственных открытий. До того самого момента, когда, словно от боли, вскрикнула и застонала под ним Людмила, а затем, когда он остановился и почувствовал в темноте губами ее слезы, она включила ночник, проворно выбралась из-под него и, продолжая плакать, полными ужаса глазами смотрела на кровавое пятно посреди белой простыни (он в ту же ночь засунул ее в вонючую пасть мусоропровода).

Он помнил, он навсегда запомнил, что первый восторг от тех любовных утех был серьезно подпорчен ее слезами.

– Прощай детство, – сказала она тогда ему, прикасаясь мокрой щекой, – вот я теперь и твоя...

И она уже не стеснялась при свете своей наготы. А он, утешая ее, снова и снова ласкал ее дерзко стоявшую упругую грудь. Он все помнил. Как крепко помнил и наставление любимца факультета – начальника выпускного курса полковника Кузнецова:

– Товарищи курсанты, – однажды сказал он перед строем увольняемых в город счастливых, – ложась с восемнадцатилетней девушкой в койку, заранее думайте о том, какой она встанет из нее вашей пятидесятилетней женой!

А в прошлом году Людмиле уже сорок исполнилось, и часто видя ее обнаженной, Гаевский ловил себя на мысли, что с «фактурой» жены он не просчитался. Двоих детей ему родила, а все еще, как говорится при ней, – мужики шеи сворачивают, глядя ей вслед...

Вот только с годами тихонько, незаметно поубавились страсти, а любовные утехы с женой давно стали однообразными, даже пресными.

В маленькой и потрепанной книжечке с телефонными номерами он однажды записал две строчки своего нового стиха:

*Нет былого уже отрешения
На резине немнущихся губ.*

Гаевский не раз с грустью думал, что он еще далеко не все испытал, что должен испытать мужчина в его возрасте. Он как бы чего-то еще не добрал, не все тайники в себе открыл. Выросшая в семье воронежских интеллигентов, и к тому же людей набожных, Людмила в интимной их жизни была строгим консерватором и не позволяла себе тех «вольностей» и «экспериментов», которые много раз порывался проделать с ней все еще жаждущий новизны чувств Гаевский.

– Ты что, порнухи где-то посмотрелся? – с укоризной говорила она, отворачиваясь от него в постели. И, надев очки, брала с тумбочки Библию.

А затем, отстраняясь от чтения и как бы оправдываясь, добавляла:

– Мой любимый Набоков, между прочим, говорил, что в человеческом сексе есть животность... Фу!

В молодости Гаевскому даже нравилась эта провинциальная нераспущенность Людмилы в их интимной жизни, и он многие годы таил надежду, что еще доведет ее по этой части до необходимого ему идеала.

Но время шло, а почти ничего не менялось. Все те же настоятельные требования к их ритуальному «миссионерскому» положению тел, все те же закрытые глаза ее, все те же слова

«ляг повыше», все та же мимика на лице, от которой ему зачастую становилось не по себе – то было лицо женщины, испытывающей не радость и наслаждение, а боль.

Он даже не знал, когда у нее наступает миг восторга, – ну разве тогда, когда она начинала усиленно сопеть...

И даже если случалось, после долгих недель воздержания от выполнения супружеских обязанностей (Боже, как он ненавидел эти слова!) заигрывала с ним теплой ножкой под одеялом, когда ему казалось, что уж на сей раз все будет восторженно и раскованно, – ничего не менялось. Он обожал как можно дольше растягивать предварительные ласки, а Людмила, едва они начинались, приказывала:

– Ляг на меня. Повыше. Не спеши.

И закрытые глаза, и эта мучительная мимика на лице, и то же учащенное сопение. И тот же строгий учительский возглас, если он пытался выйти за границы давно установленных ею правил:

– Ты что, с ума сошел? Мы же не животные! Фу!

Добывание высшего мужского наслаждения становилось пресной работой.

Лишь одно его утешало, – что при таком прохладном и однообразном отношении Людмилы к их постельным утехам она вряд ли будет искать кого-то на стороне. В конце концов, он смирился с мыслью, что так устроены и физиология жены, и ее убеждения насчет интимной части супружеской жизни.

10

Давным-давно в каком-то журнале он вычитал, что самые фригидные женщины – учителя и преподаватели гуманитарных дисциплин. И часто хмуро думал, что, видимо, Людмила из этой категории и ему не повезло. Нет-нет, с характером, с душой ее все было в порядке. Жилось ему с ней спокойно и комфортно, давно притерлись друг к другу, как шестеренки в швейцарских часах, дружно растили детей, время от времени посещали театр и выставки живописи, вместе почитывали нашумевшие книги, охотно ездили в гости и не менее охотно принимали гостей, – словом, все шло своим размеренным чередом, все было и правильно, и пристойно, и прилично.

Но еще в молодые годы (где-то после тридцати пяти) заметил Гаевский, что любовь их потихоньку облачается в привычку мирно и тихо жить рядом, – ему же хотелось хоть иногда новых восторгов, страстей и чувств, а не пресного однообразия в домашней темной спальне (Людмила не любила света). И еще с тех лет, когда они только начинали жить вместе, когда вдруг нападало на него невыносимое желание овладеть ею, заласкать ее до беспамятства, он слышал это проклятое:

– Темочка, я устала... Голова что-то болит... Давай утречком.

А утречком вырывали его из постели то ранние построения на плацу, то сигналы тревоги, то командировки.

Но даже тогда, когда в редкие выходные дни ему удавалось добиваться своего, Людмила вела себя так, словно делала ему одолжение, словно все это было нужно только ему:

– Ты уже?

– А ты?

– Я и сама не знаю...

И часто мучила его мысль, что, может быть, это он виноват в таком отношении Людмилы к тому, что венчает высшие чувства между мужчиной и женщиной. Когда же бывалые по этой части офицеры заводили меж собою шутивно-скабрзные разговоры, лейтенант Гаевский превращался в слух.

– Главное в этом деле – не размер, а техника, – так говаривал в свое время майор Жихарев, – если женщина лежит под тобой, как бревно, значит, ты ни хрена в этом деле не смыслишь. Тут так изловчиться надо, чтобы она кидала тебя от страсти и наслаждения – до потолка! Чтобы задница твоя в мелу была!

Гаевский робко выпытывал у полового разбойника гарнизона секреты этой самой «техники», а он лишь поблескивал хитрыми кошачьими глазами, пощипывал усы и приговаривал:

– Тут практика, практика нужна, мой юный друг. Это дело требует экспериментов, поиска новых форм и методов. Тебе жена минет делает? Нет? А ты ей? Нет? А она на тебе и так, и сяк? Нет? Ну ты и деревня! Тебе надо срочно Таньку из дома офицеров закадрить. Она тебе всему научит. Ой, как научит... У нее во рту полгарнизона побывало! Гы-гы-гы...

Первая же попытка лейтенанта Гаевского сделать революционный прорыв в интимной жизни с женой потерпела оглушительный крах:

– Ты что, маньяк? – возмущенно и брезгливо восклицала она, кутаясь в простыню, – или порнухи насмотрелся? Убери это от моего лица! Я никогда такое делать не буду!.. Фу!

Уже тогда он впервые почувствовал, что какой-то мстительный бес настойчиво вселяется в него, показывает свою хитрую морду и словно заманивает за красные флажки супружеской измены. Но он душил, гнал вон этого черта, стараясь отвлекать себя от грешных мыслей, – ему казалось, что может случиться самое страшное – пойдет по молодой семье, как трещина по дорогой хрустальной вазе, первый же его шаг к неверности Людмиле. И жизнь с ней превратится в мучительный обман.

Размышляя так, он допускал, что, возможно, обманывает сам себя, еще не испытав настоящее чувство, а лишь поверив в его призрак.

А то чувство, которое он испытывал к жене в те, еще молодые свои офицерские годы, – оно словно ходило по давно наезженному кругу. А ему хотелось и новых чувств, и новых ощущений. Страсти утихали и становились какими-то однообразными, полинявшими, обыденными, как поношенное белье, – оставалась лишь привязанность. Душа просила новых ощущений.

Часть II

11

Первая измена жене случилась у него в дальневосточном Белогорске – с Татьяной, фигуристой и огнеглазой певичкой из гарнизонного Дома офицеров. Ну бывают же девушки с такими глазами, от одного взгляда которых становится понятно, что путь к греху с ними будет недолгим...

Голоса у нее не было, да она при такой фигуре в общем-то в нем и не нуждалась. Когда длинноногая Татьяна, виляя своей увесистой филейной частью, игривой походкой выходила на сцену, то солдатам и офицерам, сидящим в пропитанном запахами пота и ваксы партере, смысл ее песен был уже совершенно не важен. А своим надрывным патриотическим призывом «Любите Россию», она отвлекала их воображение совсем в другую сторону...

В тот вечер после проигрыша решающей партии в прокуренной бильярдной он по уговору обязан был выставить лейтенанту Суходолу две бутылки вина. Что и было сделано в мрачном подвальном буфете Дома офицеров. Там на пару с великодушным Суходолом Гаевский и опорожнил несколько стаканов какой-то крепкой фиолетовой мути, закусив одной шоколадной конфеткой.

И уже в изрядном подпитии (а для офицеров, как и для других половозрелых мужчин, в таком состоянии все женщины становятся красивыми) он оказался среди танцующей в холле цивильной и военной молодежи со всеми признаками откровенно или робко демонстрируемой жажды к спариванию.

Вот там выпорхнувшая из-за пузатой колонны сдобная певичка решительно пригласила его на дамское танго. Она сделала это без тени смущения, – хозяйским движением рук выхватив его из стайки таких же хмельноглазых лейтенантов.

Он и раньше видел ее в Доме офицеров, – и был уверен, что девушка с такими броскими тактико-техническими данными наверняка уже давно охмурена каким-нибудь красавчиком из холостых (или женатых даже) кавалеров танковой дивизии.

– Вы здесь новенький офицерик, –дохнув на него винным запахом с примесью барбариски, томно сказала она, – я еще месяц назад заметила вас, но вы на меня – ноль внимания...

И она по-свойски повисла на нем, уложив на лейтенантский погон попахивающий клубничным мылом сноп белесых и колких, как сухое сено, волос.

Свет в холле пригасили до полумрака. На скупо освещенном подиуме с нежными надрывами рыдала скрипка в руках капитана Левы Белевцова. Многие в гарнизоне знали, что худой и бледный дирижер полкового оркестра давно мучился гастритной болью, а в тот вечер он играл так, словно только что у него наступило прободение язвы. Казалось, что скрипка плачет человеческим голосом.

Под эту возбуждающую музыку молодая и теплая женщина судорожно прижималась к Гаевскому – так, словно хотела раствориться в нем. Мешали только два тугих гандбольных мяча, спрятанных в ее твердом, как брезентовый чехол пушки, бюстгальтере.

Устоять перед напористой атакой блондинки он не смог...

* * *

После той ночи с Татьяной он из своего полка стал почти каждый день навещать ее на съемную квартиру во время обеденного перерыва (жена Людмила уехала тогда к матери в Воронеж – рожать ребенка).

В узком и тихом окраинном переулке, где среди древних бревенчатых хат, серых деревянных заборов и вольготно разросшихся кустов старой сирени стояла обшарпанная, как тюремный барак, пятиэтажка, – там часто припудривались седой пылью сверкающие лаком его хромовые сапоги и поскрипывала новенькая, еще не разношенная после училища, офицерская португеза.

В условленное время Татьяна встречала его в одном прозрачном халатике, – еще влажная после душа и пахнущая клубничным мылом. Уже в прихожей бросалась ему на шею и жадно целовала его теплыми телячьими губами. И жарко шептала в лейтенантское ухо:

– Ты меня хочешь? Брысь в душ!

А затем на широкой панцирной кровати, на виду у стаи приросших к клеенчатому коврику и потрескавшихся белых лебедей, с материнской основательностью обласкивала и обсаживала все, что хотела. О, по этой части она была большой, очень большой искусницей...

И он, как заколдованный, как голодный олень к лесной кормушке, рвался к ней снова и снова. Он ожидал обеденного перерыва, как праздника.

Иногда ему становилось страшно от того, что его засосало в этот аморальный омут, что все, происходящее с ним, невосстановимо рушит его отношения с молодой женой. Он чувствовал себя предателем. И пытался найти хотя бы крохотное оправдание давшей слабину совести, не устоявшей перед соблазном. Но тяга к наслаждению этой женщиной, к ее распутным чарам были сильнее его моральных мучений молодого мужа. Он иногда напоминал себе водителя машины, который сознательно проскакивает на красный свет светофора.

Однажды в минуты хмельных откровений на офицерском пикнике он набрался смелости и выложил все своему кумиру и «духовнику» в дивизионе – майору Жихареву. Майор с видом священника на исповеди прихожанина выслушал его и произнес фразу, которую Гаевский крепко запомнил: «Любовница дает мужчине то, что не дает жена».

– Жена – это как картофельное пюре в офицерской столовой, – философским тоном говорил с нетрезвой дикцией Жихарев, – его каждый день подают. А вот любовница – ооооо! Это уже деликатес. Хотя и она иногда от чрезмерного употребления приедается.

И он, пьяненький лейтенант Гаевский, с мальчишеской искренностью тогда допытывался у майора, – а с совестью, с совестью как быть? Ведь я же – изменник? Как жить с двойным дном в душе?

– Мой юный друг, – отвечал Жихарев тем же менторским тоном мудреца, – а уверен ли ты на все сто процентов, что вот сейчас, прямо сейчас, твоя супруга не барахтается в койке с каким-нибудь воронежским ловеласом? А? По глазам твоим вижу, что не уверен. То-то же! Новая любовь, мой юный друг, – единственное блюдо в мире, которое никогда и никому не надоедает! Если ты, конечно, не импотент, а твоя пассия – не бабушка с глубоким климаксом... Хе-хе-хе...

Жихарев тогда говорил, что в каждом мужчине должна быть тайна, что самая высокая любовь к жене не может быть преградой для «обновления чувств» с другими женщинами... Да-да, майор тогда так, кажется, и сказал – «обновления чувств». Или «освежения»? Кажется, «освежения».

– Но «освежение чувств» с чужими женщинами – это же... это же... простите, блядство, – с тою же чистой мальчишеской искренностью отвечал майору лейтенант Гаевский.

– Хе-хе-хе, мой юный друг, – тем же насмешливым тоном продолжал Жихарев, – блядство придумали холодные, несчастные и ревнивые жены! А которые сами имеют по этой части грехи, те обычно сопят в тряпочку! И не теряют времени на освежение чувств. Стремление мужчин к женщинам и наоборот (тут он высоко вознес вверх указательный палец) не-ис-тре-би-мо! Запомни, мой юный друг, – мужчина изменяет из любопытства. Хочется ведь узнать, как это самое у него получится с чужой женой или с незнающей дамой? Как она смочет... Какие позы принимает... Проявляет ли фантазию, страсти и восторг... Но секс – это еще, конечно, не любовь! Секс – это всего лишь случка, кратковременное спаривание разнополых особей... А вот когда ты без ума не только от секса с женщиной, но и от души, от повадок, от голоса, от походки ее, от всего, что в ней есть, – вот это уже любовь, мой юный друг. Ты уже не можешь жить без нее, как без воздуха... Как алкоголик без похмелья!

Гаевский будто загипнотизированный слушал профессора сексуальных наук майора Жихарева. А когда тот закончил, явно довольный складностью своей лекции (судя по его веселым глазам сытого мартовским блудом кота), лейтенант очнулся и спросил его:

– А жены, жены почему мужьям изменяют?

И тут у Жихарева мгновенно нашелся ответ:

– А изменяют жены из-за потери мужиков интереса к ним. Бабы этого не прощают! Баба без регулярного секса – это как аккумулятор без подзарядки! Потому нам и приходится работать на два фронта, устраняя недоделки тех, кто плохо выполняет свои обязанности. Такая вот фи-ло-со-фи-я, мой юный друг... И никакая мастурбация бабам живого мужичка не заменят! Старательные мужики не позволяют им забыть про счастье быть женщиной!

– Пал Николаич, – сказал тут Гаевский, настороженно глядя на Жихарева, – а вы уверены, что жена вам не изменяет?

Жихарев взглянул на лейтенанта хитрыми лисьими глазами, закурил и ответил задумчиво:

– А хрен его знает. Моя супруга – женщина скрытная и осторожная. Даже если и наставит мне рога, то я об том и знать не буду... А вообще я скажу тебе так: если ты не рогоносец, значит, жена твоя не пользуется спросом у местного мужского населения... Но лучший способ не превратиться в рогоносца – регулярно проводить, так-сказать, техобслуживание жены... Хи-хи-хи... Вон жена...

В этот момент Жихарев замолчал, посмотрел по сторонам настороженно и тихим голосом продолжил:

– Вон жена полковника Хохлова... Командира танкового полка, как-то в спальне сказала мне: «Спасибо, Павлик, хоть ты напоминаешь мне, что я женщина... А той мой так увлекся своими танками, что я уже забыла, как его член выглядит... У меня, извини, писька уже паутиной зарастать стала». Великая женщина, великая!.. Из ее спальни вылезает, как попугай из стиральной машины! Попадешься ей, – спинной мозг высмокчет! Хе-хе-хе...

* * *

Три фразы остались после белогорской Татьяны в памяти Гаевского: «Ты меня хочешь?», «Брысь в душ!» и «Хочу, чтоб было так всегда-всегда».

А еще он долго помнил, как она нежно и громко стонала. Эти стоны невероятно заводили его. Заводили до того самого момента, когда он, мерно расшатываясь над белой луной ее голой попки (с розовым шрамом от фурункула на левой ягодице) однажды увидел в треснувшем зеркале шкафа, стоявшего напротив кровати, абсолютно бесстрастное женское лицо со скучными глазами уборщицы на двух работах.

Ее стоны были фальшивыми! Оглушительное разочарование нахлынуло на него в тот момент, когда он понял, что и ее страсть, и ее восторги – подделка. «Мы так подходим друг

другу. Мы могли бы быть счастливой парой... Я была бы тебе верной женой», – так промурлыкала она однажды на панцирной кровати, становясь в его любимую позу у холодного клеенчатого коврика, – и Гаевский подумал: надо включать задний ход, пока не поздно.

«На обед» к ней он стал забегать все реже. А потом и вовсе словно забыл дорогу в обшарпанную пятиэтажку. И на то была еще одна, постыдная причина, – Татьяна наградила его дурной болезнью. И все было кончено. Два раза в день он навещался в медсанбат, где Шмуль – конопатый сержант-белорус, утром и вечером с какой-то садистской ухмылкой большим шприцем всаживал в лейтенантскую задницу дозы антибиотика, многократно выверенные на других «пострадавших» от половых битв с нечистоплотными куртизанками гарнизона.

В те же дни Татьяна исчезла из Белогорска, даже не попрощавшись с ним.

Больше он ее никогда не видел.

12

А потом там же, на Дальнем Востоке, был у него отпуск и он приехал в камчатский военный санаторий Паратунка. Там повстречалась ему молодая и красивая женщина, – но ни лица, ни имени ее он уже не помнил. Помнил лишь, что у нее была чрезвычайно «аппетитная» фигура – с невероятно тонкой для женщин того возраста талией и налитыми крепкими ляжками. У способных к сексу и не нагулявших еще санаторных мужиков сверкали хищной мечтой глаза, когда эта женщина грациозно и зазывно несла мимо свой стан зрелой самки. Гаевский помнил, что в то время он был уже капитаном, молодцем с атлетическими плечами, – видимо, это и сыграло главную роль в том, что она выбрала именно его. А познакомился он с ней на танцах под пьяненький аккордеон и «при свечах» – в санаторном клубе не было света после очередного землетрясения. Две бутылки красного вина, выпитого из целлофановых стаканчиков на скамейке в дальнем конце санаторной аллеи, быстро довели их свидание до жадных поцелуев.

– Я уже вся мокрая, – судорожным голосом бубнила она, вынимая набухший сосок роскошной груди из его трудолюбивого, как у голодного младенца, рта, – эта прелюдия должна иметь окончание... Не томите же меня...

Вот это тоже он очень хорошо помнил, – наверное, ничего так крепко не запоминает мужчина, как слова женщин, зовущих его в амурный омут.

Потом они оказались в ее номере, где яркий, как прожектор пограничного катера, лунный свет пробивался сквозь жидкие казенные шторы. Гаевский, сильно напуганный в свое время белогорской гонореей, уже напяливал на бивень любви призрачно тонкий японский кондом, когда обнаженная дама строгим учительским тоном сказала:

– Не надо. Это снижает мою чувственность. Я чистенькая. Я замужем.

Она ловким движением сняла с него презерватив и гордо добавила:

– Мой муж – атомный подводник, морской офицер.

После этих ее слов капитан стал терять «боеготовность». Чувство офицерской солидарности брало верх над похотью в самый неподходящий момент.

Ему представилось, как где-то в черных гробовых глубинах Тихого океана, в прочном корпусе атомной подводной лодки, героически мучается на боевой службе муж этой чистой и теплой женщины с тонкой талией и давно неласканной грудью... А тем временем сухопутный отпускник Гаевский наслаждается ею.

Она все, наверное, увидела и почувствовала его смятение, она угадала его состояние и пошла на выручку:

– Мой муж потерял здоровье на этой проклятой подлодке... Он становится импотентом и у него все меньше охоты до этих дел... А я вот страдаю... Мне это нужно... Я ничего не могу поделать с собой... Наверное, я так устроена. Так что если ваша армия лишает меня

здорового мужа, то извольте, товарищ капитан, отработать долг за него! Но сначала я приведу вас в полную боеготовность! – так сказала она и рассмеялась, медленно опускаясь на колени и давая волю своим шаловливым рукам и губам.

Затем она поднялась с колен и подошла к холодильнику, на котором стоял стакан с какими-то ягодами.

– Вот чудодейственное таежное средство для повышения мужской силы, – тоном доброй врачихи сказала она, протягивая ему горсть ягод. Они были невероятно кислыми, но он добросовестно ел их.

В ту бурную, почти бессонную ночь он впервые познал, что такое голодная и алчная в любовных утехах женщина.

– Я сама, я все сама, – задыхаясь, словно в забытьи надрывно бормотала она, меняя позы, – вы пока отдыхайте, товарищ капитан... Вы отдыхайте...

Она стонала, о, как же она стонала!

Кто-то грозно и нервно стучал в стенку из соседнего номера.

Но даже это не останавливало разгоряченную жену тихоокеанского атомного подводника, которая жадно и страстно стремилась к желанному пику наслаждения. При ярком лунном свете Гаевский очарованно ласкал пляшущие на его животе полушария дивно упругой и трудолюбивой попки...

Она не остановилась даже тогда, когда кто-то суровым старшинским басом заорал в коридоре:

– Дежурная, дежурная, твою мать! Срочно вызовите милицию! Тут в соседнем номере женщину душат!!!

– Ее не душат, товарищ отдыхающий! А дерут как следует! – так же громко ответила дежурная и заржала сипло, по-эковски.

Гаевский слышал шлепающие по линолеуму ее шаги. Затем – нахальный стук в дверь и тот же насмешливый, гортанный голос дежурной:

– Товарищи отдыхающие, просьба трахаться потише, – вы нормальным людям спать не даете!

В тот момент Гаевскому показалось, что прыгающую на нем голую женщину прошиб удар эпилепсии и она описалась. Какие-то звериные, нечеловеческие звуки вырвались из ее широко распахнутого рта и она, наконец, рухнула на него, царапая ему спину и больно кусая мочку уха. Теплое и липкое расширялось под ним на мягкой простыне...

Он, словно только что слезший с операционного стола больной, на дрожащих ногах ушел от нее на рассвете мимо дежурной, тракторно храпящей на коридорном диване под синим солдатским одеялом.

Второй стакан с ягодами тоже остался пустым...

Тем же утром она, не предупредив его, уехала во Владивосток, а Гаевский после бассейна возвратился в свой номер. Убиравшая его старушка в белом переднике блеснула лукавым молодым светом выцветших глаз и сказала игриво:

– Тут одна приятная дамочка вам письмецо оставила... Конвертик под подушкой.

Он распечатал конверт и прочитал: «У меня много ягод, приезжай. Мой телефон...»

Года через полтора он был в командировке во Владивостоке. Позвонил ей. И шутливо сказал: «Это покупатель из Паратунки. У вас ягоды еще продаются?».

– Это кто? Андрей? Слава? Игорь? Все, все, все... Побаловались и хватит. Забудь меня и больше сюда не звони!

* * *

Та женщина из Владивостока чем-то напоминала ему Валю Любецкую, – жену однокурсника Гаевского по академии.

Гаевские жили тогда в офицерском общежитии и в том декабре устроили у себя в квартире встречу нового года. Было, кажется, еще три или четыре семейных пары.

Сверкала в полутьме огнями елка, горели свечи, из утробы магнитофона звучала музыка, звенел смех, пары танцевали, а сильно набравшийся майор Любецкий храпел, развалившись на диване в безобразной позе.

Гаевский пошел на кухню то ли за штопором, то ли за бутылкой. А следом за ним вошла и Валя с пустой тарелкой.

Гаевский уже выходил с кухни, когда Валя вдруг с какой-то обезьяньей ловкостью повисла у него на шее и теплыми сочными губами стала жадно и нежно целовать его, – Гаевский попытался отстраниться от нее (вдруг жена зайдет на кухню!), и сделал это так резко, что затылком ударился о выключатель и свет на кухне погас.

И тогда он, пользуясь моментом, лихорадочно и страстно измял руками дрожащее и переспелое молодое женское тело – и чуть не съел крупные и сладкие губы Валентины.

Затем включил свет и стремительно ретировался с кухни.

И весь остаток вечеринки, закончившейся уже на рассвете, они с Валею обменивались горячими взглядами тайных любовников.

А потом Гаевский приболел и остался дома один (Людмила отвела сына в детсад и уехала на работу). Он лежал в кровати с температурой, когда в квартиру кто-то позвонил. Накинув халат, он вышел в прихожую и открыл дверь.

За порогом с большой белой тарелкой стояла Валентина – в туго обтягивающих крепкие бедра спортивных трениках и в легкой кофточке, пуговицы которой мужественно сдерживали могучий напор крупногабаритной груди (бюстгальтера на ней не было).

– Люда забыла у нас вашу тарелку, – сверкая большими плутовскими глазами, сказала она и решительно ступила за порог...

То, что было потом, – навсегда вошло в лучшую коллекцию приятнейших воспоминаний Гаевского.

Едва щелкнул замок входной двери, как они оба с какой-то нечеловеческой жадностью схватились в поцелуях и ласках, – доселе и стоит в полковничьих глазах картина: белая спина Валентины, прогнувшейся так, как может прогибаться самка, жаждущая самца...

Валентина стонала так, что Гаевский, панически боявшийся в тот миг разоблачения, вынужден был прекратить поршневые движения и закрыть ладонью ее большегубый рот.

Но страсть Валентины к наслаждению была так неумна, что она в горячке прокусила ему указательный палец и стала обсасывать кровь на нем, еще сильнее провоцируя Гаевского на выплеск тестостерона...

После той волшебной схватки в мрачной прихожей между ними до окончания академии больше ничего не было.

И лишь на выпускном вечере, в ресторане, они вели хмельными плутовскими глазами тайный разговор, вспоминая, видимо, страстные свои лобзания на кухне и в прихожей квартиры офицерского общежития...

Когда официант поставил перед ней пустую белую тарелку, она приподняла ее и с хитрой ухмылкой посмотрела на Гаевского. А он в ответ погрозил ей указательным пальцем, на котором остался едва заметный шрам от ее зубов...

* * *

Кто же еще был в той его коллекции? Ах, да, – та невероятно большеглазая женщина со жгучечерными волосами, которую Гаевский однажды вечером повстречал в метро (когда он был под хмельком, то после службы ездил с Арбатской до своего Крылатского в метро). В военной форме он никогда в вагоне не садился.

Он до сих пор помнит, как все было. Он стоял у выхода из вагона, прислонившись спиной к никелированной стойке. Папаха была под мышкой, газета в руках. И поверх ее он и раз, и два, и три стрельнул глазами в изысканно одетую роскошную брюнетку в тех годах, когда женщины изо всех сил пытаются поддерживать «товарный вид», панически боясь времени сексуального заката.

В сучнолицей компании пассажиров брюнетка выделялась, как бриллиант на серой мостовой. Такие женщины очень редко ездят в метро.

Видимо, и она обратила внимание на Гаевского, лишь на доли секунды задержав на нем взгляд – чуть больше положенного для благовоспитанной женщины.

Вот тех долей секунды им обоим и хватило, чтобы вместе, словно давним знакомым, рядышком выйти из вагона на Филевской. Уже на улице Гаевский представился прекрасной брюнетке, она же с деланной холодностью бросила в ответ:

– Ася.

– Такие женщины в здешних краях и без охраны? – ляпнул Гаевский первое, что пришло на ум, – я вас никогда здесь почему-то не видел.

Она ответила, что живет на другом конце Москвы и приехала проведать приболевшую сестру.

Он проводил ее до автобусной остановки. Она шла рядом с ним с надменным видом царицы, у которой полковник был второсортным пажом.

Гаевский несколько раз вежливо порывался развить знакомство с дамой, но она не подавала вида, что желает этого и лишь встав с его помощью на площадку автобуса загадочно ухмыльнулась и, небрежно держа визитку зажатую меж пальцев лайковой перчатки, засунула белую картонку за борт его шинели.

Он позвонил ей вскоре. В пятницу да, точно в пятницу, ибо только в такой день после окончания рабочего дня в Генштабе, уже традиционно принимал с душевным другом-сослуживцем «по пять капель».

Ася жила на 16-й Парковой. Она сообщила Артему Павловичу, что не может принять его в тот же пятничный вечер, но заметила, что если у него есть желание встретиться, то лучше это сделать в субботу – ближе к полудню. И сообщила точный адрес.

Рано утром в субботу Гаевский сообщил жене, что ему нужно на службу (Людмила давно привыкла, что по субботам он был на службе), затем вызвал свою служебную машину (УАЗик с солдатиком Сашей), по дороге на 16-ю Парковую купил цветы, бутылку шампанского (ну какой гусар едет к даме в гости без шампанского!), коробку конфет «Свидание» и двинул в путь. Правда, на всякий случай прихватил еще и бутылку дорогого виски, сильно опустошив кошелек (ну не лакать же ему дамский напиток!).

Ася жила в серой десятиэтажке рядом с Измайловским парком. Она встретила Гаевского с той безукоризненностью в макияже, в прическе, в одежде, как это делают самые изысканные любовницы, желающие изо всех сил ослепить кавалера своей красотой.

Стол в большой комнате был щедро накрыт, в проем приоткрытой двери в спальню был виден край кровати под белым покрывалом.

Пока Ася что-то доделывала на кухне, а Гаевский рассматривал фотоснимки на стене. И был ошарашен одним из них, – женщина, к которой он приехал на свидание, была... женой полковника!

– Да-да, это мой муж, – сказала Ася чуть стеснительно, застав его за рассматриванием снимков, – он тоже полковник... Уже в запасе, правда. Но преподает в академии Генштаба... На кафедре химзащиты... Сейчас лежит в госпитале... Вчера ему сделали операцию... Я проводила его... Аденома...

Слушая это, Гаевский чувствовал, что теряет аппетит к этой роскошной и ароматной брюнетке («Ну что же мне так не везет... Какое-то наваждение... Опять жена офицера», – мрачно думал он, – как-то нехорошо получается... Снова покушаюсь на личную собственность сослуживца»).

Подумав так, он уже, кажется, намеревался благопристойно закончить свидание, вежливо ретироваться, не доводя его до заветной развязки. Видимо, Ася была пронизательным человеком. Словно прочитав его мысли, она стала разрушать его сомнения, смело поворачивая течение свидания в нужное русло. Она покрутила в руках принесенную Гаевским бутылку шотландского виски и решительно сказала:

– А теперь и я хочу выпить чего-нибудь покрепче. Давайте напьемся.

После нескольких увесистых порций виски встречное движение Аси и Гаевского значительно ускорилось.

Хозяйка квартиры сдвинула шторы, включила магнитофон и ловким движением ног сбросила туфли на ковер. И предложила Гаевскому потанцевать, с первого же такта смело обняв его за плечи и прижавшись к его щеке своей шелковой щекой.

Ее теплое и сильное тело возбуждало Гаевского до головокружения. Он слышал ее мурлыкающий голос и с трудом пытался понять смысл ее пассажа, который был похож на оправдание:

– Мой муж был в Чернобыле... Имеет орден... Но потерял способность... Как бы это вам... тебе... потактичнее сказать?... Потерял способность приносить мне самую важную женскую радость... То высшее наслаждение, без которого я жить не могу... Вот такая у меня проблема... А вы, видимо, подумали, что я банальная потаскушка? Ну скажите, что именно так и подумали?

Она отстранила свое прекрасное лицо и нетрезвым вопросительным взглядом впиалась ему в глаза:

– Нет, я так совсем не думал... Я думал о том, что счастлив тот мужчина, которому достался такой клад...

После этих слов она осторожно, дразнящим движением, стала приближать свои пышные влажные губы к его губам. И они слились в жадном поцелуе двух страстно жаждущих друг друга любовников...

* * *

После душа голый Гаевский прошмыгнул через холл в спальню и залез там в кровать, накрывшись белоснежной, пахнущей свежестью, простыней. Пониже его живота простыня вздыбливалась, как белая нанайская юрта в заснеженной тундре. И тут Гаевскому показалось, что кто-то мрачно, зло, осуждающе, свирепо, ненавидяще смотрит на него.

Со стены на него смотрел Асин муж в форме советского майора, – молодая Ася счастливо улыбалась Гаевскому с цветного фото, из-за кудрявой головы своего супруга.

«Прости меня, брат, – думал Гаевский, – ну вот так получилось в жизни... Я не оставлю твою жену без главной женской радости... Прости, брат»...

Ася вошла в спальню голая и влажная, вошла так, будто она давным-давно была женой Гаевского и ничего уже не стеснялась. Она восхищенно взглянула на нанайскую юрту посреди кровати, затем, (помрачнев) – на цветное фото на стене.

– Да, это как-то неуместно, – тихо сказала она, сняла снимок в рамке со стены и положила его на подоконник, за штору.

А затем, резко сорвав простыню с Гаевского, хищным движением пумы проползла вдоль ног вздрогнувшего гостя и голодной нежностью своих пышных губ отправила его в рай... Он лишь постанывал от наслаждения в том раю...

Ася решительно взгромоздилась на него и, надрываясь от нежных стонов, стала раскачиваться так, будто Гаевского под ней и не было... Она делала это с каким-то иступленным отрешением, хотя в какой-то момент взяла руки Гаевского и приставила их к своей пышной груди с возбужденными сосками...

Протяжный и громкий женский стон раздался в спальне, когда Гаевский почувствовал, что Ася несколько раз сильно вздрогнула и упала на него, тяжело дыша...

– У меня уже сто лет не было такого, – благодарно шептала она ему в ухо...

Он уже был в прихожей, он уже застегивал шинель, когда Ася в коротенькой черной ночнушке учинила ему какой-то нечеловечески нежный и долгий засос и прошептала: «Еще хочу тебя... Вот так... В шинели... Прямо тут... Это меня возбуждает...».

Ну как было ему не пойти навстречу пожеланиям дамы?

Он выполнил ее просьбу старым казацким способом, – она лишь горячечно умоляла: «Далеко не уходи» или «Не выходи»? Этого он уже не помнил. Как не помнил уже и причин прекращения тех недолгих свиданий в сером доме на 16-й Парковой...

Правда, несколько раз пятничным вечерком, после душевных посиделок с другом в Генштабе, он звонил Асе по мобильнику, но тот отвечал, что «такого номера не существует». А домашний телефон Аси отзывался сирым мужским голосом, на что Гаевский отвечал:

– Извините, не туда попал.

И, отключив свой мобильник, он с собачьей тоской глядел в окно на заснеженный Арбат и думал, что его слова «не туда попал» имеют и другой смысл...

13

Порой он выстраивал в памяти добрую дюжину покоренных им женщин и вспоминал, вспоминал, вспоминал... Лица иных уже ему не представлялись, на их месте было лишь что-то безликое, как большое и белое страусиное яйцо...

На правом фланге этого строя стояла жена, но она была как бы вне конкурса, особняком занимая единственное штатное место. Замыкала этот строй дородная молодая проститутка из Оренбурга, которую он во время инспекторской командировки, после мальчишника генштабистов в ресторане, вызвал в свой гостиничный номер (нагловатый женский голос в трубке гостиничного телефона несколько раз повторял одно и то же: «Отдохнуть в обществе приятной дамы не желаете?»). Навязчивый оренбургский сервис был на высоте).

Пару раз Гаевский ответил: «Спасибо, не нуждаюсь», а затем, еще сильнее захмелев от новых порций коньяка, все же сдался.

– Какой возраст и какую комплекцию дамы предпочитаете? – спросила его та же нахальноватая женщина на другом конце провода, явно довольная клевою клиента.

– Только не сопливую пионерку бройлерного типа, – ответил он.

– Понятно, понятно, – слышал он в трубке, – вам подходит дама с житейским опытом...

Ну и чтобы... хе-хе... Чтобы взрослая курочка была с жирком, да?... Блондинка? Брюнетка?

Он ответил:

– Ночью это не имеет значения.

– Только учтите, клиент, – слышал Гаевский в трубке тот же напористый голос, – анал – за отдельную плату...

– Обойдемся без этого, – брезгливым тоном отрезал он, – глиномесом не работаю...

– Хорошо, хорошо... А ваша безопасность – за счет пациентки...

Вспоминать о ней было противно – она изображала наслаждение и страсть с неуклюжей фальшью самодеятельной артистки деревенского клуба. Ее лживые стоны были ему противны.

Она разбудила его серой ранью, – одетая, причесанная, покрашенная, удушливо пахнущая духами. Сказала:

– Извините, мне нужно уже домой... Детей надо забрать у соседки и в садик вести.

И она намекнула ему про «гонорар». Розоворыжую пятитысячную бумажку он еще с вечера вложил в телефонный справочник гостиницы. Она взяла деньги, дежурно попрощалась и стремительно исчезла.

Он курил на балконе и смотрел ей вслед, думая о том, что все же сделал доброе дело – поправил материальное положение этой неуклюжей постельной трудяги и ее чад.

Но настроение у него было пакостным. Он даже корил себя за то, что по пьяни опять не устоял перед соблазном иметь очередную, проходную женщину; терзая себя этим упреком, он в то утро мылся в душе дольше и старательней обычного. И думал о том, что можно отмыть тело, но не душу...

* * *

Где бы он ни служил – на Дальнем Востоке, под Мурманском, в Краснодаре или в Москве, какой бы изматывающей ни была его работа с утра до ночи, время от времени просыпалась в нем тайная и грешная мечта о «романчике».

И бесконечная служебная кутерьма, и пресное однообразие тихой семейной жизни словно водили его по давно натопанному кругу. Но служба всегда была для него самой главной и самой жертвенной частью его офицерской жизни. Она была для него святым делом, а добросовестное отношение к ней было его личной религией. Именно за это его всегда ценило начальство, двигая по карьерной лестнице, каждая ступенька которой была окроплена его офицерским потом.

И в семье все вроде было ладно – тихое и мирное сосуществование с женой, без сцен и конфликтов, без надрывной ревности Людмилы к его службе, без раздражающего бабьего нытья.

Людмила преподавала в университете и готовилась к защите кандидатской по Набокову; у нее тоже все по одному и тому же расписанию – лекции, зачеты, семинары, экзамены, совещания на кафедре, библиотека, стирка, варка, пылесос, шелест книжных страниц, бесконечный кофе, танцы пальцев на клавиатуре компьютера...

И когда она уже далеко за полночь осторожно ложится рядом в постель, думая, что он спит, а его провоцируют на мужские ласки грешные мысли, – ему становится жалко уставшую жену, и он выпроваживает из спальни подкравшихся к нему амурчиков... А когда Людмила быстро засыпает, он с отцовской заботливостью укрывает одеялом ее голое плечо.

Ему почему-то не спится в такие моменты, – мысли о жене, о его отношениях с ней, об их семье, то сумбурно, то стройно появляются в его голове.

Дочка Катя вышла замуж и уехала со своим лейтенантом в Брянск, а сын Андрей после окончания военного училища по отцовскому совету отправился в пулеметно-артиллерийскую дивизию на Курилы, – это чтобы уже к зрелым офицерским годам было у него моральное право проситься у кадровиков служить поближе к родителям.

Вот так все было в жизни Гаевского.

А душа его нередко и настырно просила любовного «романчика».

Ну вот такой он был человек. И как-то подумалось ему что он никогда бы не смог стать прототипом героя для какой-нибудь идейно выдержанной повести о полковнике Генштаба. Такой литературный герой, конечно, должен быть высоколобым и позитивным во всех отношениях, ему денно и ночно надо заниматься решением стратегических проблем, корпеть над планами оперативного управления войсками и их перевооружения, выдавать прогрессивные идеи, интересы службы ставить выше личных, ну и, само-собой разумеется, быть крепким семьянином, морально устойчивым мужем...

Такая во всех отношениях правильная и идеально отлакированная фигура лишь местами совпадала с тем, кем был Гаевский на самом деле. Конечно, служба, как всегда, была для него на первом месте. Но в душе его таился такой секретный уголок, куда совсем уж неслужебные, греховные мысли его любили иногда заглянуть, чтобы понежиться в плену мужских фантазий...

Призрачный образ тайной любовницы время от времени маячил в его сознании, – он мечтал хоть на какое-то время вырваться из пресного круга семейного однообразия, обновить, «освежить», как говорил майор Жихарев, увядающие чувства.

Мысль о том, что в свои 45 лет он должен довольствоваться только скудным, приевшимся и все реже достающимся ему любовным «пайком» бесстрастной жены, часто мучила его. И что? Смириться с этим, сдаться в плен обстоятельствам, пополнить ряды «половых пенсионеров»? Нет-нет, такой вариант был не для Гаевского.

Иногда он казался себе ходячим вулканом, в утробе которого бродит и ищет выхода наружу не высвобожденная любовная лава.

– Ты меня любишь? – иногда спрашивала его Людмила.

– Конечно, люблю, – отвечал он скороговоркой, на что она обижалась:

– Ты как-то бесчувственно это сказал.

Тут уж он по-жихаревски ударялся в пространные демагогические размышления о том, что любовь такая штукавина, которая с годами меняет свою сущность, взрослеет (он хотел вообще-то сказать «стареет»), теряет первозданную температуру чувств и перерастает во что-то другое... Ну, в привычку, скажем.

Накаченные ботексом и размалеванные тетки, по три раза побывавшие замужем и оставшиеся в одиночестве, частенько несли из телевизора такую же ахиною сексуально неудовлетворенному российскому народу о премудростях любви...

Гаевского однажды сильно позабавила в «ящике» дебелая дама, пространно и красиво рассуждавшая о счастье семейной жизни и поучавшая молодежь, как надо сохранять крепость уз:

– Я была особенно счастлива с бывшим третьим мужем...

Поглядывая на жену, он порой все же стыдился своих коварных и предательских тайных замыслов затеять долгоиграющий романчик на стороне. И ничего с собой поделатать не мог.

Как ни крути, а получалось, что снова бродил в нем план измены.

И от этого временами как-то неуютно становилось на душе. Он успокаивал совесть словами майора Жихарева, сказанными Гаевскому еще в его лейтенантскую белогорскую пору:

– Мужчина изменяет не потому, что в нем много плохого, а потому, что в нем пропадает понапрасну много хорошего.

Он грустно улыбался, вспоминая эти слова майора.

* * *

Иногда из Воронежа в гости к Гаевским приезжала родная сестра Людмилы – Полина. Она была на три года старше жены Артема Павловича и находилась в расцвете той, еще не

сильно тронутой возрастом, фамильной породистой красоты, которая была дана ей, как и Людмиле, отцом с матерью.

У Полины была великолепная фигура и веселая душа, – в больших глазах ее Гаевский частенько замечал тот шаловливый свет, который обычно бывает у женщин на пике сексуальной активности (чего, к сожалению, нельзя было сказать про глаза Людмилы). Сестры, как часто бывало в их детстве и юности, любили посекретничать и пошутиться до глубокой ночи. В такие дни Гаевский часто слышал их звонкий смех из своей спальни, где Людмила укладывала Полину на свежие простыни его кровати. А ему стелила в бывшей детской. Засыпая, он иногда сгорал от любопытства, – так сильно ему хотелось узнать, о чем же там бубнят сестры и что так сильно смешит их. Как-то утром он спросил об этом Людмилу, но она настожила, и ответила:

– Да так, – о жизни, о семьях, о детях говорим, свое детство вспоминаем... Ничего особенного.

Однажды перед сном он решил покурить на лестничной площадке, и, проходя мимо кухни, где за бутылкой вина все еще бубнили сестры, он отчетливо услышал в приоткрытую дверь слова, сказанные Полиной, – «Человек для души».

О, как же ему хотелось узнать, о каком именно человеке и в каком, так сказать, контексте были сказаны эти слова! Но сия тайна так и осталась ему неизвестной... Как, впрочем, и содержание всех вечерних и ночных разговоров сестер. А выпытывать все это у жены или у Полины, – было, разумеется, неприлично. Он вспомнил эти загадочные слова много позже...

* * *

– Ты что, серьезно влюбилась в него? – шепотом, почти в самое ухо Людмилы, спрашивала Полина в темной спальне.

– Я и сама еще не знаю... У меня такое впервые. Руку целует, цветы дарит... По телефону какие-то особенные слова говорит... А глазами, глазами какими на меня смотрит! Я сначала не придавала этому значения... Думала, просто флирт... А потом чувствую, – что-то стало во мне меняться...

– И кто же он?

– Мой начальник... Завкафедрой. Из Парижа приехал.

– Из самого Парижа? Он что, – француз?

– Ага, француз из Нижнего Новгорода! Работал там в университете. Потом в Париже лекции читал...

– И какой же он?

– Высокий, стройный, элегантный... С хорошими манерами. Мне с ним интересно. Он меня и надоумил по Набокову кандидатскую защитить... И ты знаешь, я прямо вся другая стала... До встречи с ним вся в работе, в работе, в работе была... Модные тряпки уже не так, как в молодости, стали интересовать... Иногда на лекции уже не намалеванная ездила... Даже ногти не красила... А теперь себе такого никогда не позволяю...

– И давно у тебя это?

– Да уже полгода. Пол-го-да.

– Артем что-то подозревает?

– Кажется, нет.

– Помнишь, я тебе как-то говорила, что наши годы – это очень опасный возраст?... Бабы в нашем возрасте словно с ума сходят... С левыми мужиками, как последний раз перед смертью трахаются...

– Полинуська, не говори, пожалуйста, так грубо.

– Извини. Я не филолог. Я же кондитер. Ну и что, у вас уже все было? Колись, сестренка.

– Ну что ты? Я об этом пока и не думаю. Я боюсь этого. Мне кажется, если все это будет, в моей жизни лопнет, треснет что-то очень важное, что уже не склеить и не скрепить.

– Предвзвещения все это, Люсь... Жизнь дается человеку один раз и ее надо прожить... Да так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Мне мама перед смертью рассказывала, что у нее в наши годы тоже был человек для души... А мы все думали, что она у нас святая...

– Она и мне это рассказывала.

– Вот видишь, это у нас, значит, фамильное... С генами передалось. Мне мама говорила, что к сорока годам баба...

– Не говори это слово...

– Хорошо. К сорока годам женщина становится чем-то похожей на осеннюю яблоню, которая хочет цвести... Ибо есть непознанные законы физиологии! Все остальное – моральные предвзвещения.

– А тебя есть человек для души?

– Так я тебе все и скажу.

– Но это же нечестно.

– Давай спать, когда-нибудь и я перед тобой расколуюсь.

14

Расшифровка одного из бортовых блоков управления американской противоракеты, добытого нашей разведкой в США, продвигалась медленно.

Томилин поторапливал Гаевского, – осенью на полигоне под Астраханью предстояли очередные испытательные пуски «карандаша», и надо было всем отделом навалиться на корректировку его программного обеспечения.

Гаевский с утра до вечера пропадал в лаборатории, выстраивая на компьютере бесконечные схемы прохождения сигнала к высотомеру.

Назначенный ему в помощники сметливый майор Дымов тоже беспомощно разводил руками, – у него тоже ничего не получалось. Однажды он подал идею:

– Артем Палыч, а что, если вскрыть платы? А?

Гаевский ответил:

– Американцы не дураки, они и про таких ушлых, как ты, подумали. Как только мы вскрыем платы, – вся схема рухнет. Кстати, они на этом и прокололись, когда пытались вскрыть «начинку» ракеты С-300...

Еще час оба сидели перед компьютерами молча. Пальцы шустро танцевали на клавиатуре. Дымов протяжно вздохнул, протер глаза, взглянул на часы и осторожным тоном негромко пробубнил:

– Артем Палыч, у меня есть предложение – кофею попить. Вы не против? В нашем баре отличный молотый кофе. Кстати, вас не удивляет, что на нашей серьезной фирме устроен этот легкомысленный бар?

– Да, это как-то экзотично, – ответил Гаевский, не переставая бегать пальцами по клавиатуре компьютера, – трактир на режимном объекте... Это круто...

– Я тоже так думал и был поначалу немало удивлен и даже возмущен присутствием этого шалмана в нашем корпусе, – говорил Дымов, – а когда все узнал, так сказать, об истории вопроса, то удивляться перестал.

– И что же вы узнали? – спросил майора Гаевский.

– А то, что режим секретности этот бар здесь никак не нарушает – он никак не связан с нашим корпусом. Там отдельный вход с улицы и стены почти метровой толщины. А появилось это славненькое заведение с легкой руки Журбея... Но не от легкой жизни.

Услышав это, Гаевский оторвался от компьютера и пристально посмотрел на майора:

– Ну и какая же у этого бара история?

Дымов негромко, словно боясь посторонних ушей, говорил:

– Мне это Кружинер рассказывал... Да и вы должны помнить время, когда заказов у армии на зенитные ракетные комплексы почти не было. И денег, разумеется, у Журбея тоже не было. А китайских экспортных заказов еще не было. Зарплату людям нечем платить. Они стали бежать отсюда стаями. Освобожденные помещения начали пустовать. А фирму-то и кадры надо было как-то спасать. Думал-думал Журбей как выкручиваться, вот и придумал. Решил народ уплотнить, а часть пустующего корпуса на первом этаже в аренду под бар отдать. А заодно там же и мебельный магазин, и бутик со шмотками, и цветочную лавку, и даже парикмахерскую открыли. Пошли деньги. И люди перестали уезжать. Наоборот – стали возвращаться. Но какая-то мразь на Журбея доносы накропала... И в Кремль, и на Лубянку, и в главную военную прокуратуру... Мол, вместо выпуска ракет Журбей на своей секретной фирме бизнесом занялся. Военные контрразведчики во главе с генералом нагрянули сюда мигом и устроили грандиозный шмон. И что? Когда проверка закончилась, генерал с Лубянки сказал Журбею: «Я поначалу думал, что тут кое-кого на нары придется уложить, а вас же к ордену представлять надо». Но было поздно. Пришел приказ об отставке Журбея. И уже никто не стал разбираться. Никто... Вот такая, Артем Палыч, была история. Так вы как насчет кофею в баре?

Пока Дымов стоял в очереди, Гаевский разглядывал публику за барными столиками. В самом углу там, где было самое уютное место под старыми фикусами, сидели и беседовали, неспешно попивая кофе, трое пожилых людей, среди которых Артем Павлович сразу узнал усатого и белоголового Журбея.

Когда Дымов с двумя чашками кофе сел рядом за столик, Гаевский спросил его:

– А что, Журбей разве по-прежнему работает здесь? Он же уволен.

– Да, Игорь Романыч уволен, но не изгнан отсюда. Ему дали какой-то зачуханный кабинет на десятом этаже. Он там и кантуется. Ученые деды наши избрали его даже председателем экспертного совета.

– И как же к его избранию отнесся Гре...

Гаевский хотел сказать «Гребнев», но замер на полуслове, – в этот момент он увидел Наталью. Она стояла в очереди у барной стойки. На ней было великолепное черное платье, – недлинное и не короткое, невероятно просто скроенное, – и в этой простоте было много потрясающе тонкого вкуса. «В таком платье и баба Яга выглядела бы королевой красоты», – подумал Гаевский.

На голове Натальи уже не было ее обычной прически с челкой и «хвостиком», – русые волосы ее на сей раз были распущены, причем один длинный локон как бы небрежно спал с правого плеча до неглубокого декольте – и в этом тоже была заманчивая прелесть. И все же весь этот праздничный блеск Натальи показался Гаевскому странным, – день-то был будничный.

– Да-да, – повторил он, обращаясь к хитро блеснувшему глазами Дымову – и как же к избранию Журбея предводителем этого самого экспертного совета отнесся Гребнев?

– Смирненно и даже с некоторым елеем, – с ухмылкой ответил майор, – расточал комплименты Игорю Романовичу, говорил, что для него честь работать вместе с таким специалистом. Что его богатый опыт будет востребован. Что он будет по-прежнему участвовать в разработке «карандаша». Ну и сообразно моменту нес всякую, положенную в таких случаях лицемерную чушь с плохо скроенным пиететом...

Тут забренчал мобильник Дымова, – добродушное лицо майора мгновенно сделалось озабоченнохмурым. Он затараторил:

– Так точно, товарищ полковник, приказ понял, приступаю.

Дымов выключил мобильник, большими глотками допил кофе, встал из-за столика и сказал Гаевскому:

– Это Томилин звонил. Приказано срочно убыть на полигон. Там с аппаратурой наведения «карандаша» какие-то нелады по нашей части. Где-то мы, наверное, в расчетах маху дали. А к вам на расшифровку подключится Таманцев.

И он ушел.

* * *

Выходя из бара, Гаевский как будто против своей воли остановился у столика, за которым сидела Наталья, улыбнулся и не сумел сказать ей что-то более оригинальное и умное, чем расхожее «вы сегодня великолепно выглядите». А после паузы добавил:

– У вас чудесное платье.

– Спасибо, товарищ полковник, – ответила она ему с манерным распеваем; при этом, заметил он, ее темноватые глаза улыбались больше, чем губы, – вам действительно нравится мое платье?

Он лихорадочно соображал, как поумнее ответить на вопрос Натальи. Но мозги словно заклинило. Он скороговоркой выпалил:

– Оно очень красиво, оно великолепно,

– Ну подобные слова мне сегодня все мужчины говорят, кроме Якова Абрамыча, – с легким кокетством говорила она, прихлебывая кофе и пристально заглядывая ему в глаза, – вы присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста.

Он сел и почувствовал, что рядом с этой манящей женщиной оказался будто в другом мире – все вокруг меняло свое значение, обретая магические краски и звуки. Однако его самолюбие было ущемлено замечанием Натальи про «одинаковые слова», и он пошел в разведку:

– Извините, и какие же слова про ваше платье Кружинер сказал?

Она лукаво улыбнулась:

– Он сказал, что в моем платье – океан вкуса! А еще он мне анекдот про платье рассказал: «Рабинович, вчера в оперном театре я видел вашу жену. Она так кашляла, так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее что, хронический бронхит? – Нет, у Сарочки новое платье».

В те мгновения голова Гаевского работала со скоростью самого мощного компьютера, слова мелькали в ней с бешеной скоростью. И он заговорил:

– Ваше платье, Наташа, так красиво, так идет вам, что я... я хотел бы быть им...

И она рассмеялась. Рассмеялась искренне и звонко. Да так, что головы людей, сидевших за соседними столиками, стали поворачиваться в их сторону. Она тут же застеснялась своего неприлично громкого смеха и умолкла, – но все так же лукаво и весело поглядывала на Гаевского. Сказала:

– А вот такого смелого и приятного комплимента я еще не слышала. Спасибо.

Она произнесла эти слова каким-то особым тоном, в них он уловил и другой, подспудный смысл. Ему даже показалось, что и в этих ее словах и в тоне ее певучего голоса был скрытый намек. Или даже приглашение к встречному движению по призрачной еще стежке, на которой они повстречались здесь, на Ленинградке...

Он проводил ее по улице в служебный подъезд корпуса, до лифта, из которого она вышла на третьем этаже. А он поехал на свой четвертый. А там, когда уже открылись створки кабины, он все еще продолжал стоять в ней, сдерживая ногой нервно дергающуюся створку и вылавливая прелестный запах тонких духов. Он продолжал делать это до того момента, пока снизу стали грозно кричать, требуя отпустить лифт...

* * *

Когда Гаевский вернулся в лабораторию, за компьютером Дымова уже сидел Таманцев. Майор считал деньги. Заметив удивленный взгляд полковника (в котором читалось – «почему не работаешь?»), он сказал:

– Артем Палыч, сегодня у Наташки Абрикосовой день рождения, мы тут всем отделом скидываемся. Не желаете поучаствовать?...

Гаевский дал удивленному столь щедрым взносом майору тысячу и подумал: «Так вот оно к чему, это парадное черное платье».

Как только Таманцев ушел в магазин за подарком имениннице, Гаевский исчез следом за ним. Минут через пятнадцать он был уже в цветочной лавке, – она располагалась на первом этаже, в левом крыле корпуса.

А через час хмельная публика, собравшаяся во втором отделе на дне рождения Натальи Абрикосовой, дружно грянула веселым галдежным восторгом – откуда-то сверху на белом шнуре спустилась и застыла в окне огромная корзина роскошных пурпурных роз.

Полковник еще с юных курсантских лет имел такую страсть – удивлять сослуживцев, друзей и знакомых (особенно девушек и женщин) эффектными поступками. Ну кто бы мог подумать, что в тот день он, офицер Генштаба, который по определению обязан быть чинным и важным, степенным и сдержанным, вдруг совершит этот мальчишеский поступок?

Был бы он самозабвенно влюбленным юнцом с отчаянными помыслами Ромео, – тогда бы можно было как-то объяснить вот такие его выходки, а тут ведь женатый мужчина с сединой на висках, отец двоих детей, орденосец с портретом на генштабовской доске почета, – и на тебе...

Окно открыли, и корзину с пурпурными розами, раздвинув пластмассовые тарелки со снедью, поставили на стол перед Натальей. Все наперебой шумно гадали, – кто же столь оригинальным образом осчастливил ее таким царским подарком?

Отдельские девицы (разведенки и незамужние) с тайной завистью поглядывали на нее, Томилин предлагал выпить за безвестного рыцаря любви, а чертежница Кулакова предположила, что такое мог устроить только хохмач Кружинер. Но ее версия тут же лопнула, – метнувшийся за дверь кабинета майор Таманцев сообщил народу, что пьяненький Яков Абрамыч спит на диване в соседнем кабинете. Впрочем, Кружинер вскоре появился, изумленно посмотрел на корзину с пурпурными розами и сказал:

– К сожалению, я на такие подвиги уже не способен... Я такую корзину даже не подниму... Кстати, о цветах... Встречаются две одинокие подруги и делятся впечатлениями о житухе.

Одна говорит:

– Я неплохо приспособилась. Приглашаю мужика в гости, он приносит цветы, шампанское, конфеты, подарки. А у меня под кроватью кнопка, соединенная с дверным звонком. И как только мы ложимся в постель, я ее нажимаю. Раздается звонок, и я испуганно кричу:

– «Муж пришел!». Мужик одежду в охапку – и в окно.

Посмеялись подруги и разошлись. Через полгода встречаются. Вторая первой говорит:

– Решила сделать как ты. Принес мне хахаль целую корзину цветов, три бутылки шампанского, две коробки конфет. Еще и десять тысяч рублей на мелкие расходы дал. Только мы с ним в постель легли, я кнопку нажала и ору: «Муж пришел!». А хахалья – раз! И парализовало! Полгода уже в моей квартире лежит. И только вчера первые три слова сказал.

– Какие же?

– Где муж, сука?!

Дружный смех в отделе.

И Наталья тоже смеется, – а в голове мечется интригующий вопрос, – кто же таким необычным образом преподнес ей эту корзину чудесных роз? Среди институтских мужиков вроде никто к ней всерьез клинья не подбивает, так – неуклюжий дежурный флирт. Букет любимых ею белых астр офицеры еще до застолья подарили. Может, это отделиськие девки такой сюрприз вскладчину учинили и помалкивают? Хотя вряд ли, – таких приколов за ними она никогда не замечала. Или это новенький полковник устроил?

Когда все разошлись, она осталась в большом кабинете наедине с тишиной. На широком подоконнике стояло новенькое (завхоз Петрович вместо подарка принес) оцинкованное ведро с розами. Наталья поправила их, подлила из желтогобокого графина воды и подумала: «Неужели новенький полковник?.. Хорошо бы, если это был именно новенький полковник... Он такой симпатичный».

* * *

С букетом белых астр в руке она и увидела его уже на выходе из парадного подъезда. Стояла под козырьком высокого гранитного крыльца, не решаясь сходить вниз, – шел дождь. А зонтика у нее не было.

Тут Гаевский и хлопнул над ней черным куполом своего зонта и сказал:

– Позвольте проводить вас.

Она, конечно же, согласилась. Поначалу шла с ним рядом молча, не отваживаясь взять его под руку – это было бы слишком нахально. Несколько раз они соприкасались локтями и он, видимо, посчитал, что так идти неудобно. Сказал:

– Возьмите же меня под руку.

– Да-да, действительно, – ответила она, переложила букет белых астр в другую руку и зашла к Гаевскому с правой стороны.

– Нет-нет, надо вот так, – с улыбкой сказал он, подставляя ей локоть левой руки. Она послушно взяла его под левую руку и они пошли дальше.

– А почему мне надо идти слева от вас? – спросила она, желая хоть как-то прервать их неловкое молчание.

– А потому, что правая рука нужна офицеру для...

– Для отдания чести! Я догадалась! – веселым тоном продолжила она.

– Ну вообще-то свою честь офицер никому, никогда и никакой рукой не отдает, – отвечал он своим густым баритоном, – правая рука нужна офицеру для отдания приветствия.

«У него такой мужской, такой разлагающий голос», – подумала она.

Наталья шла рядом с ним в ногу и чувствовала, что он умышленно делает короткие шаги, сообразуясь с шириной ее шагов. Она чувствовала, что голова слегка кружится то ли от шампанского, то ли от чего-то еще. Она крепче взяла Гаевского под руку.

– Какая красивая пара, – услышала она позади себя старческий женский голос и тогда ей стало еще радостней от чувства, которому она еще не могла дать название.

Гаевскому в ту же минуту хотелось, чтобы дождь не кончался, а метро «Сокол», к которому они шли, находилось гораздо дальше, чем оно было на самом деле.

Он делал шаги еще мельче, нес какую-то веселую чепуху, а белое здание метро катастрофически приближалось – оно словно двигалось им навстречу.

– Большое вам спасибо за то, что спасли меня от дождя, – сказала она, а затем, смело и пристально заглянув в его глаза, отважно добавила, – и за корзину роз огромное спасибо. Это было красиво и мило...

Он лишь хитро улыбнулся в ответ.

– Возьмите мой зонтик, – предложил он, взглянув в небо (хмурое фиолетовое небо в тот момент было особенно красивым), – дождь явно еще не скоро закончится. А вы можете испортить свое чудное платье.

Она, поколебавшись, взяла зонт и ушла. А он смотрел ей вслед, любуясь ее фигурой в черном платье. Смотрел до тех пор, пока она не затерялась в густом потоке пассажиров метро. Ему показалось, что в последний момент она оглянулась.

* * *

Пока он шел по переулку от подземного перехода к небольшой площади у Церкви Всех Святых, где останавливался троллейбус № 19, проливной дождь вымочил его до нитки. Стоя в лениво ползущем в Крылатское троллейбусе (его старенький, давно купленный с рук «Фольксваген-Бора» был в ремонте), он вспоминал ее глаза, ее лицо, ее голос, ее фигуру – в черном платье она была чертовски хороша со всех сторон, платье заманчиво намекало на роскошные прелести, данные Богом и природой этой цветущей женщине.

А еще он думал о загадочном явлении мужской психологии: влюбленность в женщину почему-то всегда начинается вроде бы с мимолетного, а затем уже более пристального изучения ее лица и ее фигуры. И лишь затем интерес к ней переключается на душу. Лицо и фигура Натальи стояли у него перед глазами. Тайной оставалась душа. Но даже то небольшое, что уже открылось в Наталье за все время их недолгого знакомства, вызывало в нем обнадеживающие предчувствия... Он еще не знал ее душу, но уже влюблялся в нее. Ему очень хотелось, чтобы она была именно такой, какой он ее себе воображал.

* * *

Он осторожно открыл дверь в квартиру (Людмила не любила, когда он будил ее звонком в дверь), – да так и застыл на пороге, услышав воркующий голос жены, доносящийся из спальни. Она с кем-то разговаривала. Такого амурного ее голосочка он давным-давно не слышал.

– Это с кем ты так мурлычешь? – негромко спросил он, снимая тяжелый и мокрый китель.

– Все, все, все, – сказала она кому-то уже явно встревоженным тоном, – выхожу со связи (эти крайние военные слова она взяла у него напрокат еще в молодости). И тут же – Гаевскому:

– Да это я с нашим дурачком Тормасовым болтала (Тормасов заведовал кафедрой русской литературы в университете, где работала Людмила). Душит мою кандидатскую и все! Там усилить, там добавить, тут улучшить... Там убрать... Тут я принципиально не согласен! Сколько можно? Вот я и подлизывалась к нему.

Прежде чем уснуть, он долго лежал, вперившись взглядом куда-то в потолок, – вспоминал глаза, прическу, голос, фигуру, походку той, которую он провожал до метро.

– Ты спишь? – вдруг спросила Людмила.

– Нет, а что?

– Что-то я пообносила вся, стыдно на кафедре в таком тряпье появляться...

– Ну купи себе обновку, раз так считаешь. Что хочешь, то и купи.

– Темушка, ты у меня такой хороший, такой щедрый, такой покладистый.

– Я тут еще и кой-чего интимного прикупила, – сказала она ему через пару дней, показывая вместе с уродливым коричневым платьем бюстгальтер и трусики, – нравится?

– Угу.

– Ну что значит «угу»? Ты бы сказал что-то приятное! Ты только посмотри, какая роскошь, какая прелесть – это австрийское платьице! Ну скажи же, что оно чудесно! А кружева, кружева на воротничке какие!

И тут Гаевского осенило:

– Океан вкуса! Я бы хотел быть этим платьем!

– Я тебя, Тема, за такие слова сегодня ночью поглажу, – сказала она с игривым намеком.

Ночью он с трудом размягчил ее сухие, терпкие, бесстрастные губы своими губами и еще только пы-та лея разогреть жену лаской рук, а она уже приказывала:

– Полежи на мне... Ляг повыше.

И снова, – то же прерывистое сопение. И ни малейшего нежного стона. И распоряжение:

– Не сдерживай себя. Пусть у тебя все получится.

Он дежурно занимался любовью с женой, а в мечтах был с той, которую под дождем провожал до метро.

В нем уже жил романчик.

15

Казалось, что все варианты прохождения сигналов в блоке бортового управления американской противоракеты были перебраны, а загадка для Гаевского оставалась, – нужные полковнику данные все еще были «мертвыми».

И чем дольше это длилось, тем сильнее разгоралось в нем настырное желание как можно быстрее добраться до ключей этой чертовой тайны. Все очевидные ходы были пройдены, все комбинации, казалось, перебраны.

Он знал, он еще со времен учебы в училище радиоэлектроники знал, что нельзя решить проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. И в академии мудрые преподаватели часто повторяли: бывают задачи, решить которые невозможно, следуя обычной логике.

За спиной Гаевского долбил пальцами компьютерные клавиши и в бога душу мать проклинал хитроумных америкашек майор Таманцев. Он тоже зло топтался в тех же электронных тупиках, где и у Артема Павловича застревал сигнал, – у порога высотомера. Майор хлестко хлопнул ладонью по столу и сказал нервно:

– Черт побери! Лучше бы я вагон с углем сам разгрузил, чем мучился с этим американским ребусом!

– Спокойнее, спокойнее, товарищ майор. Бывают задачи, решить которые невозможно, следуя обычной логике, – откликнулся Гаевский.

– Вы, Артем Палыч, конечно правы, – каким-то веселым и загадочным тоном заговорил вдруг Таманцев, – но, знаете, что я за собой давно заметил?

– И что же?

– Я Эйнштейном становлюсь, когда водки или коньяка выпью... Чес-слово! Креатив из меня так и прет, так и прет, как мамкина вишневая бражка из бутылки с пробкой! Так может быть, по грамульке? У меня тут и лимончик припасен...

Выпили. Закусили, морщась. Настроение обоих стало улучшаться.

– Когда я учился в академии, – говорил Гаевский Таманцеву, не переставая тыкать пальцами в клавиатуру, – у нас психологию преподавала старая еврейка, Цицилия Иосифовна. Она однажды задала нам вот такую задачку. Представьте, говорит, себе ситуацию: вы едете на своей машине в ненастную ночь – дождь, гроза, ветер, холодрыга. И вдруг на автобусной остановке видите троих людей, – сгорбленную сухонькую старушку с палочкой в дрожащих руках, вот-вот ее кондрашка хватит, давнего друга-сослуживца, который однажды спас вам жизнь, а еще – женщину своей мечты. А она вся така...

Таманцев не дал Гаевскому договорить, воодушевленно разливая коньяк в рюмки:

– А у бабы ноги длинные? Глаза большие, губы минетные, сиськи и жопа крупные? – уточнил он, склонив голову над столом и соизмеряя уровень коньяка в рюмках.

Гаевский взорвался:

– Я сколько раз просил тебя не говорить о женщинах такими словами! А на автобусной остановке стоит прекрасная женщина. Ну и кого же вы, товарищ майор, из этих троих возьмете в свою машину, а?

Таманцев поглядывал на полковника, прижмуривая хмельноватые глаза. Уточнил:

– А у меня машина какая, – «Жигули» или самосвал «КамАЗ»?

Гаевский улыбнулся:

– Уточнение засчитывается! У тебя двухместная машина. Ну и кого бы ты взялся подвезти?

Таманцев все так же прижмуривал глаза, хмурил лоб, потирал подбородок. Сказал:

– Н-даааа, – вот это задача... Чую, что есть в ней какая-то хитрость, какой-то подвох.

Он разлил остатки коньяка в рюмки и мечтательно сказал:

– А вот когда я учился в школе, в одиннадцатом классе, учитель физики задал нам такую же заковыристую загадку... Представьте, говорит, что вы сидите на берегу реки, а в ней тонут простой рабочий и выдающийся физик, – кого вы спасать будете? Тут в классе галдеж начался... Физика, физика, кричали все. Рабочих, мол, много, а выдающихся физиков – единицы... Тут я встал и сказал, что так ставить вопрос глупо! Надо обоих спасать! Независимо от профессии, чинов, регалий и заслуг! Так вот... Учитель физики, Ольга Федоровна, тогда сказала:

– Правильно, Таманцев! Быть тебе, Таманцев, военным, потому что у тебя верное мышление защитника всего народа! И напророчила ведь...

Гаевский вернул майора в колею изначального разговора:

– Ну а все-таки, товарищ майор, как бы ты поступил в ту дождливую и холодную ночь с людьми, которые стояли на автобусной остановке, а ты ехал мимо на двухместной машине?

Таманцев смотрел на Гаевского так, словно на государственных экзаменах в том же воронежском училище радиоэлектроники московский инспектор подбросил ему «черный шар».

– Я бы, я бы, – рассудительным, резиновым тоном затянул Таманцев, – я бы отдал ключи от машины своему старому другу... И попросил бы его отвезти старушку домой или в больницу. А сам остался бы с ба... Извините, – с женщиной моей мечты. И отвез бы ее домой на такси или на частнике... Ну а там уже действовал бы по обстоятельствам.

– Зачет, товарищ майор, – одобрительно сказал Гаевский и повернулся к своему компьютеру, – у тебя неплохие мозги... Вот бы нам с помощью их найти эти проклятые американские ключи... Врубай свой креатив на коньячном подогреве...

За окном лаборатории уже начинало темнеть. А ключи все еще не были найдены. Стали собираться домой. Таманцев выключил компьютер, и, кинув осторожный взгляд на Гаевского, вдруг сказал:

– Артем Палыч, можно – нескромный вопрос?

– Валяй.

– Вам Наташка Абрикосова нравится? Я видел, как вы провожали ее до метро. У нее был такой счастливый вид... Она вся такая была... Как сирень цветущая... Да и вы женихом выглядели...

Ошарашенный вопросом Таманцева, Гаевский попытался уклониться от ответа по существу:

– Да, приятная женщина...

– За этой приятной женщиной до вашего появления тут некоторые наши мужики ой как увивались! Но бесполезно. А вы пришли и...

– Что «и»?

– И закадрили ее...

– Откуда ты взял?

– У меня же глаза есть. И корзина с розами, и провода до метро, и ваши посиделки с ней в баре... Везучий вы... Такой пудовый бриллиант отхватить... Но я хотел бы вас предупредить... Будьте осторожны. У вас могут быть серьезные неприятности. А я некрологи не умею писать...

– Ты о чем?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.